ЛЕОНИД ПАСЕНЮК

ПО ЧАУН-ЧУКОТКЕ

НА НАШИ ДНИ

ЛЕОНИД
ПАСЕНЮК

ПО ЧАУН-ЧУКОТКЕ

ОЧЕРКИ

МОСКВА

Р2
П19

Рецензент *А. Жуков*

П $\frac{4702010200-205}{М106(03)-84}$ 90—84

ББК84Р7
Р2

АЙОПЕЧАН — АРКТИЧЕСКИЙ ОАЗИС

РОЗОВЫЕ ЧАЙКИ

Случается в жизни и так, что может повезти отчаянно, едва ли не на пределе возможного. Я немного знаю, что такое Север, имею представление, каково там с транспортом в условиях бездорожья — тундра, устья рек, болота, — а к тому же то дождь, то снег, несмотря на лето. Постоянные туманы. И я не питал поэтому слишком радужных надежд на то, что доберусь к нужному месту сразу, едва сойдя с воздушного лайнера. В Певеке переночевал в гостинице. А утром, зайдя представиться в Чаунский райком, узнал, что если меня интересует биостационар на острове Айопечан, туда вот-вот должен отбыть вертолет с «академиком». Может, и улетел. Секретарь райкома Агафонов действовал с привычной четкостью: звонок в аэропорт, звонок шоферу — и понеслись! У авиации, конечно, свое расписание, бывает, что и свой норов, но поскольку мне везло, вертолет еще не улетел.

Словом, повезло, что туда отправлялся академик, точнее, член-корреспондент Академии наук СССР, директор Магаданского института биологических проблем Севера Витаутас Леонович Контримавичус. Биостационар на островке в устье реки Чаун, что впадает в огромную Чаунскую губу, — детище этого института, один из его форпостов на Чукотском Севере. Витаутас Леонович прилетел из Магадана лишь вчера, словно мы сговорились с ним заранее!

И вот мы уже в поселке Рыткучи, в усадьбе оленеводческого совхоза «Певек». Говорят, в этом селеньице когда-то еще в военные годы начинал свою учительскую биографию будущий писатель Николай Шундик. О том, уже далеком, времени им написаны книги «На Севере дальнем» и «Быстроногий олень». Не тот теперь Север, даже дальний, не те и чукчи, шумно толпящиеся под стрекозиным хвостом вертолета, у разверстого зева грузового люка. Идет выгрузка каких-то рулонов, бидонов, жестянок с лентами кинофильмов... В руках у меня фотоаппарат. Снимаю преимущественно характерные, типично чукотские лица.

В ожидании вызванных по радио моторных лодок с биостационара бродим с Контримавичусом вдоль реки. Для меня все здесь в новинку, хотя немало читал о Субарктике, об окрестной чукотской тундре — своего рода оазисном уголке близ арктической губы, загроможденной льдом, был и на острове Врангеля... Правда, на острове тогда еще не было овцебыков.

— Там овцебыки в одной паре дали уже приплод, — говорит Витаутас Леонович. — Это обнадеживает. Если не считать, что три быка погибли. У одного обнаружили большую рану на голове, двое других — от пневмонии.

— Климат, что ли, не совсем привычный?

— Да нет, пожалуй, скорее кто-нибудь погонял их, чтобы получить снимочек поэффектней. А быки коротконогие ведь... быстро устают, запарились, пропотели. Потом морозцем прохватило, вот вам и пневмония.

Я уже знал о завозе с канадского и американского Севера в нашу страну двух групп овцебыков. Это стоило немалых дорожных хлопот и издержек... И вот все же находятся охотники

стрельнуть в редкого у нас зверя, погонять стадо ради потехи, вроде бы и бескровная фотоохота, а во вред. А что касается местного зверя либо птицы, то тут тем более нужны исключительные усилия, чтобы оградить их от истребления. Хотя бы в этой Чаунской тундре. И одним из первых голос в ее защиту поднял не кто иной, как директор совхоза «Певек» Ефимов. С ним бы и побеседовать на эту тему, Контримавичус познакомил нас тут же, у вертолета, но, к сожалению, через день-два Ефимов улетал в отпуск. А северные отпуска — затяжные, как известно.

Тем временем подошли два частящих выхлопами резвых «Прогресса». На руле одного из них — зоолог Владимир Гаврилович Кривошеев. Трубочка во рту замысловатая, простецкие остроты, походочка враскачку, что-то в нем есть, можно сказать, аборигенное, хотя, наверно, и русский. Вид во всяком случае для доктора наук излишне «разбойный». Приглашает Контримавичуса в свою лодку: если, мол, желаете с ветерком... И давит на газ без опаски сзади крутой, с завитушками, бурун. Мы вскоре безнадежно отстаем. Ну что же, тише едешь — дальше будешь. Ведь этак недолго и мотор загнать. Да и Чаун изобилует мелями, русло петляет, фарватер непостоянен — сегодня в одном месте желтеет плес, завтра, смотришь, чуть подальше. Немудрено поэтому, что как ни внимателен мой шкипер, мелюка нас не обошла, от внезапного толчка повалились со своих сидений. Пришлось вытаскивать лодку на проточную глубину. В общем, часовое путешествие на «Прогрессе» заканчивается благополучно. Вдали вырастают мало-помалу желтые, обшитые свежими досками, строения биостационара; вот они ближе, на берегу встречающие, здесь жена и дети директора

института. Я сразу же попадаю в заботливые руки начальника станции Марины Болеславовны Поспеховой.

— Так вы писать о нас будете? — спросила она. — А что именно? Статью, очерк?..

— Да просто приехал посмотреть, что такое этот биостационар, чем здесь занимаются... А там видно будет.

Она понимающе усмехнулась и, зазвав меня на склад, вручила спецовку, «чтобы не пачкать своей одежды», сапоги с раструбами, вкладыш к спальному мешку — все необходимое на болотистом острове, отрезанном Чауном и его притоками от окружающей необозримой и тоже болотистой тундры.

Поселок примечателен. Несколько вкривь и вкось стоящих домов, возведенных не по строгому плану застройки, четкому рисунку некоего архитектурного ансамбля, а с учетом вечной мерзлоты и рельефа. Выбирали места повыше, посуше, чтобы дом покоился на устойчивой, не подверженной внезапному таянию, основе. Тут уж, даже если ты любитель изящных линий и непременной художественной завершенности, будь добр, считайся с тем, что тебе может предложить природа, а выбор невелик. Впрочем, определенный стиль здесь все же есть — броский, непривычный для глаза, но с учетом целесообразности. Крутые шиферные крыши до самой земли, по типу шалаша, так что у дома всего две стены: треугольный фасад, треугольный либо даже в форме усеченной трапеции, глухая стена-задник. Ведь двускатная до полу крыша — дополнительная защита для стен домов от ветров господствующих направлений. Мертвое пространство, образуемое внизу под крышей, заполнено всяческими утеплителями, стекловатой...

Здесь есть и элемент игры, затейливости. Один из домиков, высокий, в два этажа, выстроен в стиле вигвама, даже дверная ручка стилизована в виде пухлощеко-скуластого лица не то эскимоски, не то чукчанки. Обычно в «вигваме» живут зарубежные ученые, приезжающие во второй половине лета для изучения фауны и флоры нашего арктического побережья.

Планирование поселка, его застройка и архитектурное лицо от начала до конца продуманы самим Контримавичусом, который относится к своему детищу с понятной любовью и хотя бы раз в году его посещает, вот и сейчас приехал на месяц. Первый дом здесь был возведен в 1971 году. Ныне стационар функционирует как полнокровное целое. Сотрудники приезжают из Магадана еще в апреле — мае, завершается полевой сезон не ранее начала или середины октября. И заниматься им приходится не только наукой, но и благоустройством, делами по хозяйству, погрузкой-разгрузкой...

Директор привез сотрудникам посылки от близких, а для общего стола — свежие огурцы, помидоры и несколько бутылок сухого вина.

Столовая просторна, есть и второй этаж, отведенный под комнату отдыха. Потолок подпирают столбы, из-за которых торчат кости мамонтов, осколки бивней. Их замечаешь едва ли не прежде, чем стол, изобильно украшенный всевозможными яствами. Вероятно, не одна только повариха сегодня занималась столом, вечер затевался на уровне праздника, какой только возможен в условиях стационара, все женщины активно помогали ей.

Уже произносились тосты, ревел магнитофон, и мало-помалу начиналось танцевальное кружение, затряслись, вздрогнули и пол и стены.

— Танцы-то танцами, — сказал сидящий неподалеку от меня Иван Обушенков, самый молодой из сотрудников, вчерашний выпускник МГУ, — но так танцевать, извините меня... дом осядет, на мерзлоте все же.

Была у Ивана чудаковатая неуклюжесть, да и загар приставал к нему как-то местами, спорадически, а нос, прямо сказать, давно «сгорел». Вдобавок Ваня остригся зачем-то! Вот раскачался и он, но, танцуя, дурачился, что сердило партнерш, которые укоризненно ему выговаривали.

В этом танцевальном мельтешении вырисовывался лидер. Им оказалась молодая смуглая женщина, отдаленно мне знакомая. В танце она была гибка, ее динамичной, явно спортивной фигуре, обтянутой свитером и джинсами, нужны были авансцена, высвеченность, внимание зала... Хотя сознавала ли это она сама? Вряд ли. Зачем ей? Она просто танцевала для себя, а не на зрителя, потому рациональности чего-то и впрямь сценического в рисунке ее движений не было, а была импровизация, что-то плутовато-взбалмошное...

— Красиво танцует, — сказал я Витаутасу Леоновичу, который сидел рядом и тоже смотрел на колготню в зале.

— Кира — спортивная женщина, — ответил он лаконично. И так как характеристика была, по-видимому, недостаточной, добавил: — Кира — хороший человек. — И еще, помолчав: — До Магадана она работала во Владивостоке, в Институте биологии моря. Помимо прочего, и аквалангистка...

Позже она рассказывала, что погружалась обычно до двадцатиметровых глубин, обследовала литораль, собирала в основном беспозвоночных, ежей, звезд, голотурий, брюхоногих моллюс-

ков — всякую такую морскую живность для исследований.

Я не очень прислушивался к тому, о чем азартно рассказывал на другом краю стола Кривошеев — голос у него чуть фальцетистый, и его было слышно даже сквозь магнитофонные рулады и синкопы, — но одна фраза о том, что накануне он видел розовых чаек, сразу завладела моим вниманием.

— Как? Где? — встрепенулся я, да и было от чего, ведь кто из путешествующих по Северу не мечтает увидеть этот феномен, до последнего времени редко встречающийся человеку.

Розовая чайка всегда была заветной мечтой Нансена, и, наконец добыв ее, от избытка чувств он начал отплясывать прямо на льду нечто несуразное.

Сейчас она почти обычна в этих широтах. Но не каждый ее встретит, даже из тех, кто здесь живет годами. Писатель Олег Куваев восторженно сообщал геологу А. П. Попову: «А ведь мне повезло в жизни — я уже держал в руках розовую чайку, и мы вместе пили... из алюминиевой ложки...» Он не только видел розовую чайку и поил ее, но и опубликовал впоследствии повесть «Птица капитана Росса». К сожалению, в ней все же ошибочно утверждение, будто розовую чайку впервые обнаружил полярный путешественник капитан Джон Росс. Отнюдь! Эта удача выпала в 1823 году его племяннику лейтенанту Джеймсу Кларку Россу, впоследствии крупному полярному исследователю.

Море Росса, барьер Росса в Антарктиде названы именно в его честь. И именно Джеймсу Кларку Россу посчастливилось выйти на розовых чаек еще и четыре года спустя. Так что птица все же лейтенанта Росса, а не капитана...

И только спустя полвека — немалый интервал! — ее снова увидели в Чукотском море, на сей раз члены экипажа печально известной «Жаннетты», вскоре затертой льдами у Новосибирских островов. Затем ее видел Нансен, а шестью годами позже — люди полярной экспедиции де Толля, тоже завершившейся трагически.

Долго шли споры, где же гнездится эта чудесная, прямо-таки сказочная птица, где ее родина? Лишь летом 1904 года эту загадку разгадал зоолог Сергей Александрович Бутурлин. Он нашел и гнезда розовых чаек, и их выводки в низовьях рек Колымы, Индигирки, Алазеи, в самых что ни на есть заболоченных местах. Но... оставалась еще одна загадка: как птица переносит долгие месяцы полярной ночи, чем в это время кормится, наконец, что ее спасает от жестоких морозов и пург на безбрежных просторах арктических морей, почти повсеместно скованных ледовым панцирем? Период гнездования у розовой чайки месяца два, в остальное время видели ее и к северу от Шпицбергена, и у островов де Лонга, и у побережья Аляски... Залетала она и на Камчатку, и даже на юг Сахалина. А раз так, то возникла версия, что зимним пристанищем птице служат все-таки районы морей Тихого океана, где и потеплей, и посытней.

Мудрено ли, что сообщение Кривошеева «взвинтило» меня до предела, уже и танцы были не танцами. Но встречу Кривошеева с розовыми чайками я посчитал все-таки случайностью, которая никоим образом повториться не может, это было бы просто чудо. Да и видел он их где-то в дальней протоке, вовсе не по соседству с Айопечаном.

Надо уточнить, что решительно все сотрудники биостационара — гельминтологи (проще гово-

ря, паразитологи), Кривошеев — зоолог, и у него обособленная задача в этих краях. И живет-то он далеко на отшибе, куда без «Прогресса» не доберешься. На биостационаре бывает редко, вот разве по такому поводу, да еще в баньку если, да когда с лодочным мотором сам не справится. Чаще гельминтологи наведываются к нему в гости, когда мыкаются по всем закоулкам разветвленного Чауна в поисках гнезд то морянок, то шилохвостей. С гагами проще, те на острове под самыми домами гнездятся...

Утром отправился в свой первый поход по острову, который так ни разу полностью и не обошел: оказалось, он тянется в длину километров до шестнадцати, расчленен протоками, болотами, низинами. Но по каким-то приглянувшимся мне закраинам острова, вдоль его озер и проток я потом бродил постоянно — и не надоедало. Не столь уж далеко отошел я от строений биостационара, привлеченный голенастыми рыже-серыми канадскими журавлями, так картинно рисующимися на белой льдине озера, но они вскоре взлетели и с какой-то медлительной важностью выстроились в клин над впалой хребтиной главенствующей вдали горы Нейтлин. Пошел дальше в надежде повстречать их еще раз, тихо радуясь самой этой возможности.

И тут у самого берега, на другой льдине, которую с шорохом лизала мелко-чешуйчатая волна, истончая ее до обсосанно-ландриновой зеленцы, я увидел — р о з о в ы х ч а е к! И почему-то этому не удивился, хотя и дрогнуло сердце, словно и предстояло мне их увидеть, словно было заранее так задумано. А ведь еще вчера вероятность наткнуться здесь на розовых чаек представлялась совершенно ничтожной. Чайки спокойно стояли стайкой. Видно, в этих заиленных,

с вытаивающей растительностью льдинах заморожены были и всякие рачки-червячки, так что оставалось лишь их поклевывать. Поблизости, вдоль закраин льдин, плавали кулички-плавунчики, круглоносые и плосконосые, игрушечно-живописные. Я весь был поглощен фотографированием благородно окрашенных чаек. Кроме розового цвета — кстати, бледноватого, хотелось бы больше интенсивности, — их еще отличало черное нецельное колечко вокруг головы.

Испытывая нетерпеливое волнение, особенно вроде бы и не торжествуя, я уже числил себя, между прочим, в одном ряду с не столь многими людьми, которым привелось видеть розовую чайку. Воистину редкое стечение обстоятельств привело меня на Айопечан в эти дни, удача шла к удаче. Жаль только, что близко птицы не подпускали, я так не смог снять их крупно. Оставалось лишь издали любоваться ими и, конечно, недоумевать, что орнитологи института поехали искать и изучать гнездовья розовых чаек куда-то на Омолон или Колыму, тогда как они запросто летают у стен благоустроеннейшего — даже и не по чукотским меркам — биостационара. Столь редкие птицы (да и канадские журавли, и лебеди, и кулучки-тулесы) буквально по соседству с модерновыми «вигвамами» стационара, где в столовой телевизор, передачи по «Орбите-1», а на другом конце поселочка денно и нощно грохочет дизельная. И птицам хоть бы что!..

Через день-другой чайки куда-то запропастились. Ни одного розового блика на льдинах. Лед тает стремительно, чаек нет. Похоже, что они исчезли по мере таяния льда. Кто-то сказал, что в прошлом году видел здесь всего одну розовую чайку. Кира добавила, что та чайка не просто так появилась, пролетом, она гнездилась и вывела

двух чайчат. Возможно, в этом году на гнездах их будет больше.

Тундра на возвышенностях сплошь покрыта неосыпавшейся прошлогодней шикшей. Стал на колени — парусина брюк враз пропиталась бордовым и синим. На себе еще не так заметно, а вот гельминтолог Оля Орловская пришла из тундры — впору было испугаться: вся одежда испятнана давленой шикшей. С непривычки не сразу и сообразишь, что это всего лишь ягодный сок...

Однажды в середине дня вышел к изрядно заиленной протоке и оторопел от неожиданности — увидел прикорнувших белых лебедей. Рядом была и гагара. Какая у нее великолепная, серая, в черную продольную полоску, шея! Нырнула и пропала, как и не было ее. Вынырнула метров за полтораста. Говорят, гагара способна держаться под водой лишь две минуты и проплыть за это время до трехсот метров. А еще она имитирует голоса, даже иной раз ее можно принять за плачущего ребенка. «Плач» такой — душу выматывает.

Дни бегут. Сухо, злой ветер с севера. Пора круглосуточного солнца. Чтобы заснуть, занавешиваю чем придется в своей келье окно. Оттуда бьет чистый, чуть приглушенный свет белой ночи. Коттеджи днем в теплую погоду слишком накаляются, от крыши пышет жаром. А тут еще паровое отопление. Однажды не вынес такой пытки, скатал свой спальник со всеми одежками и на ночь перебрался в пустующий «вигвам», там батареи отключены. Потом я частенько пользовался тихой гостеприимностью этого жилья — ночью в нем было прохладно, а в дождливые дни даже холодно.

Сохнет, уплотняется земля, выжимая из себя

стрелки растений. Теплынь. Над незыблемым льдом Чаунской губы миражи, как в пустыне. Что ж, здесь тоже пустыня, но арктическая да еще с комарами, от которых не продохнешь. Сейчас середина июня, их пока нет. Благодать.

Но за комарами, наверное, дело не станет. Они своего не упустят. Везде в мочажинах, болотцах, озерках можно при некотором напряжении зрения увидеть их личинки. Скоро комары запустят пропеллеры, встанут на крыло... Гельминтологи ожидают обилие комаров (пожалуй, их прогнозу суждено было бы сбыться, кабы не холодное, стылое лето).

Контримавичус и Вайн-Риб толкуют за обедом, какую одежду верней всего носить в пору комаров. Витаутас Леонович сказал, что джинсы прокусывают, резиновые перчатки, парусину, бывает, тоже. Не прокусывают лишь солдатскую гимнастерку, если она не застирана.

Вайн-Риб полноват, но подвижен, говорлив, сыплет анекдотами. На него не всякая одежка впору. Марина Болеславовна как-то заметила вскользь, речь, кажется, шла о рыбалке: «А брюки ему какие? Разве что энцефалитные, ну, знаете, такие широкодиапазонные...»

Вайн-Риб — хирург, кандидат медицинских наук, но здесь он в качестве изобретателя-модернизатора аппаратуры, перегонных систем для получения дистиллированной воды. Нет ему равных, если, скажем, необходима тонкая, без зазора, подгонка стенок прибора, трубок, шлангов и т. д. «Король плексигласа» — снисходительно-уважительно величают его — способен создать из плексигласа подручными средствами подчас нечто на грани возможного. Вырежет, выточит, подгонит так, что лист или втулка «впишутся» в смежную деталь, пристанут как влитые, что да-

ет повод его коллеге, инженеру Виктору Господинову, с почтением к фирме заявить: «Монолит!» Сам же Михаил Адольфович скромно соглашается в таких случаях:

— Просто, а надо додуматься!

Плексиглас он склеивает, в частности, хлороформом; технология процесса, по-видимому, хранится в тайне. И впрямь, кто бы ни брался в отсутствие Вайн-Риба за сооружение резервуаров и аквариумов для разных червячков, у всех эти емкости текут. У Вайн-Риба — нет. Неудивительно поэтому, что ему надоедают еще и полуличными просьбами: сделай то, сделай это — столик на ножках плексигласовый, шкатулку «с секретом» для трематод и нематод... Просьбы выполняются безотказно, хотя и в порядке очереди. Самодельные холодильники с постоянно заданной температурой — тоже его работа.

— Ученый должен уметь все, — заявляет обычно Вайн-Риб. — Должен быть помимо прочего и мастеровым. Особенно в такой обстановке. Ведь не будешь по каждому пустяку вызывать из Магадана слесаря или монтера, тем более что не в каждом аппарате они разберутся. М-да... Само собой, нужно уметь логично, удобочитаемо изложить свои выводы в научной статье, математически обсчитать и обосновать их, с английского, если потребуется, перевести... и чтобы рядом со стопкой бумаги напильник на всякий случай лежал, пассатижи, паяльник...

Мне осталось лишь уточнить:

— А как же все-таки медицина? Вы же хирург.

— Да, хирург. Но не забывайте, что я старший научный сотрудник лаборатории физиологии института, от медицины, таким образом, не совсем отошел. Раздвигаю, так сказать, рамки.

Но если меня приглашают на сложную — сложную, заметьте! — операцию, я не отказываюсь. Я, видите ли, не просто хирург, я хирург высшей квалификации. Нет, нет, вы не улыбайтесь, это не похвальба: есть описанная в специальных учебниках операция по методу Вайн-Риба... А однажды вот пришлось снизойти... до аппендицита. Ветер был страшный, порвал провода, света не было — и свечек почему-то тоже. Что делать? Продолжаю операцию при спичках, которыми мне беспрерывно подсвечивали.

Охотно верю, что он хирург высокой квалификации, а что у него золотые руки, убедился и сам. И все же нельзя не заметить, что он с явным удовольствием подчеркивает свои незаурядные способности. Хотя это ведь никому и не вредит, хлеб он ни у кого не отнимает, так же как и славу, — пусть, если человеку нравится... Кроме того, он неоднократно указывал в беседах со мною на те или иные достоинства коллег, а уж о Контримавичусе говорил с нескрываемым восхищением. Директора института беспокоит сейчас благоустройство поселка, работа всех его подсобных механизмов. Начальником же отряда гельминтологов числится молодой парень, еще не кандидат и не доктор, Гена Атрашкевич. Внешне в деятельность Атрашкевича директор не вмешивается, не сковывает его инициативу, не урезает и полномочий. А впрочем, каждый здесь знает свое дело, у каждого четкая программа... Потому-то сам Витаутас Леонович чаще всего то с косой, то с граблями, то какие-то мешки таскает, замешивает в сауне цементный раствор. Коренастый, обветренный, с прямыми волосами, падающими на лоб, он скорее напоминает крестьянина, пахаря, разнорабочего... Ревностно относится он к микроогородику вокруг столовой,

где впритык к стенам сооружено нечто вроде парникового хозяйства: под пленкой зеленый салат, редис, что-то еще робко всходит. Терпеливо готовит грунт для новых парников, чаще всего занимается этим с женой Светланой Кирилловной, на время оставляющей своих разлюбезных гельминтов.

На завтрак, обед и ужин весь персонал, кроме сотрудников, которые где-то, возможно, с ночевкой на дальних речках и протоках, сходится в столовую. Для них она и комната отдыха. Здесь не так давно и камин сооружен, уже при моем участии (таскал кирпичи). Правда, он еще дымит, как следует не прогрелся, поэтому служит скорее украшением интерьера. Разговоры во время обеда и с четверть часа после него самые разные, зачастую со стороны толком и не вникнешь о чем... Виллим Поспехов, муж Марины Болеславовны, царь и бог дизельной электростанции, — тот обычно с инженером Господиновым о своем: о машинах, механизмах, технических новшествах. Только и слышно: «механический привод», «гидравлика», «пигрол», «удельное давление» или «а билибинцы до чего, черти, додумались, они на автомашинах еще один (дальше не расслышал)... ставят и свободно ездят себе по тундре». Сперва о каких-то совершенно уж технократических материях, затем Виллим — огромный, добродушный — сводит разговор на подробности установки кварцевых ламп в бане. Чтобы попариться — и бегом на второй этаж загорать. Виллим Поспехов, ясное дело, человек в электротехнике сведущий, на нем вся «энергетика» стационара держится, и установить какие-то там лампы для улучшения быта сотрудников и максимального приближения к условиям юга — дело для него несложное.

Здесь вообще делают вид, якобы за окнами утепленных домиков и не Арктика вовсе, а так, чуть ли не подмосковные дачные места. Все, включая пятилетнего малыша, купаются в Чауне, в часе езды на моторке от тяжелых паковых льдов океана. Детишки, конечно, иногда и носами шмыгают, но матерей это не очень беспокоит. Считают, что остров — великолепный природный детсад, оздоровительный лагерь. Что касается купания в Чауне — матери-то и пример подают! Особенно Кира Регель. Самая отважная водная лыжница — она. Только бы нашелся охотник покатать ее на буксире по реке. Ледяная вода и студеный воздух не помеха. Хуже, когда обнаженные спину и плечи облепят комары. Впрочем, она говорит, что, когда скользит на лыжах за «Прогрессом», комаров сдувает.

Конечно, у Киры есть и «завистники»: почему только ей блистать на водных лыжах? Один из таких завистников — Ваня Обушенков, длинный, нескладный. Однако все его попытки устоять на лыжах ни к чему не приводят — обычно он, эдак неэстетично раскорячиваясь, плюхается в воду. И вот уж кого — совсем беспощадно — поедом грызут комары. Если неудачник, то неудачник во всем. И не замечает своих неудач разве только сам Ваня — для этого он слишком жизнерадостен и победно неунывающ.

Однако вернемся к тем самым кварцевым лампам, ибо велико было желание обитателей стационара, обхитрив природу, «начхав» на все ее южные прелести и щедроты, получить ровный бархатный загар именно на острове Айопечан. Для этого и был сюда завезен и смонтирован Поспеховым некий — по инструкции — «облучатель эритемный передвижной, предназначенный для проведения групповых светолечебных проце-

дур с целью восполнения ультрафиолетовой недостаточности». Уточним: эритемный — значит красный, покрасневший. Профилактические процедуры, как объяснялось в инструкции, должны проводиться ежедневно методом постоянной биодозы. Но размер допустимой для каждого биодозы никто, разумеется, не устанавливал, все шло опытным порядком. Кое-кто пренебрегал и допустимым расстоянием от облучателя — так хотелось скорее получить прекрасный и ровный загар! Не хуже, чем на юге! А то и лучше. Ровнее. Все-таки по науке...

И хотя народ здесь подобрался в науке понимающий (да и в разного рода приборах тоже), потенциальных возможностей эритемного облучателя сразу как-то не оценили. Пренебрежительно отзывался о нем прежде всего Вайн-Риб. Мол, слаба машина, ерунда, могла бы и помощней быть. От защитных очков, предложенных Витаутасом Леоновичем, решительно отказался — ни к чему, мол... К тому же мы знаем о его разговорчивости и неистощимом запасе анекдотов, что в совокупности и привело Вайн-Риба в жалкое, если не сказать анекдотическое, состояние. Он сильно обжег глаза и три дня пластом лежал, постыдно униженный и страдающий. Позже, когда Вайн-Риб несколько оклемался, его почтительно-ехидно титуловали «вождем краснокожих».

Вынужденный терпеливо внимать его бывальщинам и историческим экскурсам, капитально пострадал и Витаутас Леонович. Колени его обгорели так, что он некоторое время и ходить не мог. В большей или меньшей степени испытали злую силу облучения и другие сотрудники, даже более закаленная и спортивная Кира вскользь пожаловалась на недомогание. К злополучному аппарату стали относиться с должной предосто-

рожностью. Но вот получил ли кто-либо наконец ровный бархатный загар, восполнил ли свою «ультрафиолетовую недостаточность», сказать затрудняюсь.

На какое-то время эта грустно-потешная история отвлекла меня от тоски по исчезнувшим розовым чайкам. Но оставались же другие птицы! Скажем, не так-то уж привычны были для меня канадские журавли. Да и лебеди.

НЕМАТОДЫ И ТРЕМАТОДЫ, ЛЕБЕДИ И ЖУРАВЛИ

Журавли и лебеди. Трематоды и нематоды. Доберусь, конечно, и до нематод. Пока мне бы на рыбалку съездить. Но своего желания вслух так и не высказываю. А мне, по-видимому, посчитали неудобным предложить. Или просто предпочтительней был рыбачок покрепче, способный несколько часов перебирать сеть, возиться с нею. Да еще когда погода не из лучших. Со стороны смотреть и то уже зябко, когда лодка уходит в знобящую морось, в заштрихованный серебристо-игольчатый пылью туман. Заядлый рыбак в любую погоду — сам Контримавичус.

Рассчитывали, в общем, на чира, который, поднявшись из своих ям, еще не полностью ушел в верховья речек на нерест (осенью он возвращается в эти ямы как на облюбованные зимние квартиры). Да и на ряпушку время еще не пришло, — она появится в августе. Однако чира поймали мало (этаких красавцев с бронзово отливающей чешуей, прогонистых и плотных), гольцов попалось больше да ряпушки несколько десятков. А в прошлый раз, помнится, было несколько си-

гов — рыба-то какая! Сиг, чир, голец, ряпушка — язык можно проглотить.

Да, пошли устойчивые холодные дни, со слякотью, с порывами ветра из «гнилого» северо-западного угла. Эти дни на Крайнем Севере — без комаров, без мошки и прочей кусачей гадости (гнуса как такового вообще здесь нет, только комары) — очаровательны, да еще если умильно солнце проблеснет. Солнца нет, однако я часто вижу, как Кира Регель босиком, в пляжном костюме вышагивает по кочкам к ближнему болотцу, где и умывается шумно, с брызгами (все же не рискует в такую погоду купаться в Чауне). Мне уже известно, где я ее прежде видел, хотя там и не было повода познакомиться. В 1971—1972 годах она изучала на Командорских островах моллюсков. У нас есть общие знакомые, общие воспоминания, что немаловажно, если хочешь найти с человеком и общий язык.

Лицо у нее тонких своеобразных черт, делающих ее миловидность чуть-чуть немиловидной. И скользящий взгляд — неуловимый, с туманцем... Описывать лица вроде бы ни к чему. Разве только мужские, без этого все равно не обойтись. Передают характер (могут быть и исключения). Склонности. Да иногда вся биография на лице! Ведь сказал же однажды поэт: «Он в зеркало смотрел как в Уголовный кодекс». Это — целое стихотворение. Стихотворение в одной строке. Классический пример. Но опять же для нашей книги пример сей не подходит, у нас таких нет, чтоб в зеркало — как в Уголовный кодекс... И интересы, пристрастия располагаются совсем в иной сфере. В том числе и мои. Вот моя мечта — увидеть турухтанов. Такие кулички из подсемейства весьма распространенных песочников. Самцы особенно примечательны брачным наря-

дом, этакое у них пышно-рыжее перьевое боа, воротник этакий из удлиненных перьев на затылке. Перед гнездованием устраивают на возвышенных местах брачные турниры, бегают, петушатся, распустив перья воротника, создают видимость страшной необходимости пустить кровь ближнему своему турухтану. Видимостью чаще дело и кончается.

Упустил я это время, упустил, даже Кира меня укорила. Такое, мол, зрелище было, петушились они тут прямо на территории стационара, близко к чаунскому обрыву (самая как раз высота, сухо, есть где развернуться, настоящий стадион).

Так и не увидел я турухтанов. Теперь канючу у женщин «красивых» гельминтов, то есть в высшей степени они мне не нужны, просто хочу увидеть и понять, действительно ли презренных этих червей можно считать «красивыми», даже соответственно настроившись? Пристаю с вопросами вроде: «Почему вы стали гельминтологом?» Ведь, по моим понятиям, да и на общий взгляд, наверное, — не престижная в науке профессия, не броская, в кино, например, гельминтологов не показывают. Мало того, что надо иметь какое-то пристрастие к постижению всей этой, с позволения сказать, фауны, ну, микрофауны, надо иметь смелость даже именоваться паразитологом. В известном смысле паразит ведь и ругательство вдобавок. Самый край презрения. А тут добровольно — паразитолог!

На подоконниках лабораторий, жилых комнат, даже в лужах на улице — везде разбросаны сердолики оливкового, желтого, густо-медового и буро-красного (это уже сардеры) цвета. У Киры их целый мешок, есть прелестные, хотя она и говорит, что это отходы, лучшие муж в прошлом

году взял домой в Магадан. Если такие «отходы», то каковы же тогда те сердолики, что он увез? И все же привыкнуть к небрежно разбросанным сердоликам я не в состоянии. Если сегодня прошел мимо, наверняка подниму завтра, чтобы всмотреться пристальней и все-таки увидеть в камне то, чего не замечал прежде.

Гена Атрашкевич привез на биостационар нескольких саламандр карпатских, черных, с желтыми камуфляжными заплатами, и подсадил их к местным жильцам — ящерично-вертким сибирским углозубам (а ближе они к тритонам). Я подолгу стою у аквариума, не столько, впрочем, дивясь на саламандр и углозубов, сколько присматриваясь к разложенным по углам аквариума «для естественности» сердоликам. Но взять какой-либо не рискую именно из опасения нарушить искусственную «естественность», созданную Атрашкевичем внутри плексигласового ящика с микроэкологией.

Не знаю, какой эксперимент ставит Атрашкевич, искусственно сведя в общем месте обитания саламандр и углозубов, но, скорее всего, он их заразил теми же гельминтами. Здесь решительно все заквашено на гельминтах. Вот те два симпатичных щенка, заливисто лающих на цепи, тоже гельминтоносители — с легкой (или тяжелой?) руки Вани Обушенкова. Потому и на цепи, чтобы не общались с окружающим животным миром. Хотя собак, в частности на стационаре, больше нет, если не считать устрашающе огромного черного ньюфаундленда по имени Граф.

Есть, вероятно, определенный резон, что биостационар расположен именно на этом островке. Обилие водоплавающих птиц. Отсюда исключительная его зараженность гельминтами. И первая здесь задача — изучение гельминтофауны. Мало-

помалу я начинаю понимать, что есть свободно живущие червяки, допустим дождевой, а есть червяки-паразиты, тогда это уже гельминты. Стало быть, червяк червяку рознь по его предназначению в этом мире. Один вполне благороден, другой — мразь подколодная.

Но для бездн, где летят метеоры,
Ни большого, ни малого нет,
И равно беспредельны просторы
Для микробов, людей и планет, —

сказал Николай Заболоцкий в чудесном стихотворении «Сквозь волшебный прибор Левенгука». Убеждаюсь в этом, глядя, с каким тщанием и серьезностью Оля Орловская заражает хирономид — личинок комара-долгоножки — личинками же другой твари, нематоды. Хирономид, кстати, можно различить и без «волшебного прибора»: это длинные красные червячки, в них черная нить. Или наоборот: червячок черный, а нить в нем красная?

Но бог с ними, с нематодами и трематодами, комар для нас посущественней, поскольку ощутимей, наглядней, что ли. А ведь и комар во многом зависит от них, от нематод. Здесь вот, скажем, сильная зараженность нематодами личинок (мотылей) комаров. Есть нематоды, которые, бывает, так «изгрызут» комара, что он практически не может летать, гибнет.

Одной из научных задач, впоследствии, возможно, перерастущей в практическую, прикладную, здесь считают выработку метода биологической борьбы с комарами, то есть способствование выведению устойчивой к влияниям окружающей среды нематоды. Достойная задача в известных пределах. Ибо подчистую не нужно — и опасно! — уничтожать даже комара. Он тоже для чего-то существует в этом мире, кто-то ест его личинки и тем пробавляется, тем жив.

Но отвлечемся на время и от комаров. Все же для меня предпочтительней птицы. Меня поражают внешнее совершенство птицы, динамика ее полета, ажурный рисунок оперения, вообще вид, сочетание красок. До сих пор я видел лишь тундряную куропатку, и вот встреча с самцом белой, арктической... Совсем иная окраска, иное «платье». Правда, птица еще не слиняла, преобладает белое оперение. Но шея и головка пламенно-рыжие. Вот это сочетание белого с рыжим неожиданно! И еще свойство куропачей выставляться напоказ, принимать «удар» на себя, тогда как сама куропатка сидит где-нибудь в гнезде не дыша... Большая радость фотографировать куропачей, понимая, что в чем-то они даже подыгрывают, дают ощутить, какой ты удачливый и искусный фотоохотник. С лебедями такое взаимопонимание установить не удается — взлетают, едва тебя заметив. А скрытно не подойдешь — берега заилены. Взлет лебедей торжествен и в чем-то даже велик, сердце екает, когда их тела как бы зависают над синеватой гладью озера, кое-где отороченного белыми льдинами. Ах, какая фотография могла бы получиться, какой яркий слайд! Но он не получился, его нет. И я с досадой отмахиваюсь то ли от вилохвостой чайки, то ли от крачки, которая с криком «кр-ра, кр-ра!» остервенело на меня нападает. Бьет сперва грудью, потом вдруг клюнула, да так, что и сквозь берет почувствовал. С тем же остервенением нападают они на голенасто вышагивающих канадских журавлей. Тем это не по нутру: угибают длинные пружинящие шеи, отпрядывают — да отстань, мол, мы совершенно нейтральны, чего тебе?.. Прелестный, черный с белым, куличок тулес тоже нападает на досадившего ему журавля с криком «пи-и, пи-и!», и бед-

няге ничего не остается, как отбежать от него на своих смешных ходулях. Хотя понадобилась бы чуть ли не сотня таких тулесов, чтобы в объеме получился один журавль.

Обычно в тундре маячат там-сям женщины с сачками, мелькают дети. Я, чтобы никому не мешать, выбираю другие маршруты, но бывает, что наши пути все же пересекаются. Вот повстречал Бируте Восилите (из женщин — Бируте и Светлана Кирилловна единственные здесь кандидаты наук). С другой стороны подошла и Кира Регель.

Уже совместно они поддевают сачками тину в болотцах, «заарканивают» разных мотылей — словом, берут пробы. Рядом дурачатся детишки, среди них и пятилетний сын Киры — светлоглазый шустряк Федор. У малышни сплошь фиолетово-синие губы — едят прошлогоднюю шикшу.

Кира, в защитного цвета костюме, с собранными в тугой узел волосами, сухолицая, выглядит как подтянутый строгий командир. Бинокль на шее усугубляет это сходство. На меня она попросту не обращает внимания — занята своим делом, которое продолжает потом в лаборатории. Их две — в разных домах, и обычно гадаешь, куда же заглянуть на досуге, у кого чай покруче и погорячей.

Интересно у Эдиса Рудминайтиса (когда добирались из Рыткучей, он был за шкипера). Да и повод есть навестить — выпало стеклышко из очков, и никак не вставишь, не держится.

— Это мигом, — говорит Эдис, — у меня есть такой клей, потом захотите, не оторвете.

И начинает манипуляции с очками, приведшие к подобному же результату, какого достиг лесковский Левша, подковавший «аглицкую» блоху. Как известно, она перестала прыгать. Так

и здесь: стеклышко держится крепко, но оно настолько запачкано клеем, нестираемым и несмываемым, что практически одним глазом читать я уже не смогу.

Тем временем оглядываюсь, хотя и не впервые уже здесь. Изучаю стеллажи, уставленные колбочками, спиртовками, всякими состыкованными и запутанно перекрещивающимися сосудами, книгами, в том числе и на английском языке. Юмористический фотомонтаж на стене: «Что за чудо-пароход там по Чауну плывет?» К туловищу весьма солидного капитана (судя по форме и нашивкам) приклеено фотоличико Наташи — единственной из женщин стационара, которая бестрепетно управляет лодкой «Прогресс». Да и то, надо думать, не без мудрого руководства либо Рудминайтиса, либо Вани Обушенкова.

Наташа сидит здесь же за столом, что-то там шарит пинцетиком в кювете, ощупывает и затем перекладывает хирономид в чистую воду. По упитанности отбирает, что ли?.. К столешнице прижата животом гитара — для разрядки в паузах.

Смотрю на живчиков-хирономид, как бы расчлененно-прерывистых, пытаюсь рассмотреть в них белых нематод (если они вообще видны), в который раз любопытствую, в чем же их отличие от трематод (нематоды вроде бы только в хирономидах, трематоды — вроде бы лишь в моллюсках; если не наоборот, на что я весьма уповаю), и вдруг ловлю себя на том, что испытываю даже некоторый интерес к этой суматохе, верчению паразитов в кювете.

Не проходя «специального курса обучения», никому особенно не надоедая, тем не менее кое-что по мелочам усваиваю в этой хитроумно-запутанной науке, мотаю на ус. Но тундра мне все же предпочтительней.

Плохая погода чередуется чуть ли не с жарой. В Арктике иногда горячей, чем на каком-нибудь юге. Душней. Здесь ведь лишнего с себя все-таки не снимешь, хотя комаров еще нет. Ну, а когда комары?.. Весь в поту, но терпи.

Цветет ромашка, попадается багульник (раньше я его не замечал — плохо знал отличительные особенности). Многие болотца высохли, покрылись сеткой трещин. Перхоть ила «взрывается» под сапогами облачками. Есть уже, собственно, и комары. Но мало. И почему-то не кусаются, наверное, «мужики» летают, ведь говорят, что жрут нас почем зря лишь самки. Между кочками полохливо шарахаются немыслимо узорчатые птенцы куличка-чернозобика. Такие крохотули. Да и всякая живность в таком несмышленом возрасте прелестна. Вон и птенчики подорожника тоже, их здесь не счесть...

В эти дни приключился со мной конфуз. Сначала я увидел вдали за подсохшей впадиной парочку канадских журавлей. (В музее в Певеке почему-то стоят чучела серого журавля «Grus grus», который здесь, на арктическом побережье, не водится; да и канадский сравнительно редок.) Чтобы не упустить меня из виду, они пружинисто подпрыгивали, затем отлетали подальше. Я — за ними. Но журавли меня так и не подпустили. Махнул на них и поплелся в другую сторону. Через несколько шагов, словно бы в компенсацию, повстречал некую желтую пушинку — весьма забавного птенца. Вдруг как выскочит из-за кочек, — и поначалу я не воспринял его как журавленка, а потом скорее догадался, шейка выдала. Выскочил, живность какую-то склюнул — коротконогий такой... Ножкам лишь предстояло в ближайшем будущем отрасти, хотя, рождаясь, птенцы сразу становятся на ноги.

Бедняга, где же его родители? Никоим образом я не увязывал его с теми журавлями, что недавно улетали от меня. Родители, оказывается, оставили его в безопасном месте, в укрытии, по их разумению, а меня отвлекли. Но вышла небольшая накладочка, да и глупый птенчик обнаружил себя раньше времени... Тут-то я и поснимал его на обратимую цветную, хотя и позировал малыш совсем без интереса, пытался убежать.

«Зачем же оставлять его на произвол судьбы? — подумалось. — Родителей не видно. А на биостационаре, быть может, как раз такой птенчик для науки пригодится. Для какой-нибудь там прививки или наблюдения за ним».

Прикинув все это, взял я пуховичка-журавленка и с чувством исполненного долга и некоего соучастия в научном процессе зашагал домой. Но хотя женщины и обрадовались птенцу, такому симпатичному и беспомощному, они сразу дали мне почувствовать предосудительность моего поступка. Меня оправдывало лишь, что птенчик был безнадзорный. Возможно, его родители погибли. Я-то уже догадывался, что это не так, но теперь счел за лучшее опустить эту подробность.

Оля Орловская сразу же принесла крохе хирономид в блюдечке, первую она вложила пинцетом в клюв, и журавленок ее проглотил, оценил на вкус, остальных принялся неторопливо склевывать уже сам. Надо сказать, что угощение было богатое и бесплатное, почему и не подхарчиться на дармовщинку? Женщины были без ума от покладистости журавленка, от того, что он канадский, а не какой-нибудь там еще, все-таки порода, нечто птичьи-аристократическое, да и попросту такой он милый...

без трех коготков на лапе, слабенькая такая была поначалу, — пошла от Союззооэкспорта в обмен на разных экзотических зверьков и прописана сейчас где-то в Бельгии. И если уж держит Марина Болеславовна дома собаку, то это типичный громила, хотя на поверку довольно добродушный...

На стационаре нет книг, так сказать, не по делу: только специальная литература. Не знаю, чем это вызвано: либо тем, чтобы народ не отвлекался от работы и бесконечных забот по поддержанию порядка в хозяйстве и лабораториях, либо же тем, что книга сейчас стала ценностью не только духовной и ее жалко «пускать на распыл». Если привезешь сюда, заранее смирись, что ее «зачитают» в прямом (скорее в прямом) и переносном, закавыченном, смысле. Потому что жажда чтения, если бывает короткий досуг, велика, я в этом не раз убеждался: читают допотопные журналы. Есть и книги. Они принадлежат Марине Болеславовне, это малая часть ее библиотеки, перевезенной сюда из Певека. Доступ к ним, вопреки обыкновению книговладельцев, не то что открыт, а широко распахнут. Она радуется; когда ее книги «в ходу». Пришло время, когда и я вынужден был, изнывая без духовной пищи, обратиться к ее услугам. Взял книгу Николая Шундика «Белый шаман». Шундик, как я уже говорил, учительствовал именно в этих местах, рядышком.

Есть в библиотеке Марины Болеславовны и серии — о путешествиях, плаваниях первооткрывателей, охоте, изучении Севера, хотя строгой системы в подборе нет. Сама она читает много и тоже разное, но есть у нее вкус, чутье на достоверность изображаемого.

— Что мне нравится, — сказала однажды, про-

читав одну из книг Федора Абрамова, — правду пишет. Боль автора чувствуешь за то, что происходит и в мире, и рядом, если что-то у нас еще не так, не путем...

Федор Абрамов, Нодар Думбадзе, Николай Шундик, Фолкнер, Воннегут, историческая романистика, Тан-Богораз — тут есть, что почитать! А если Марина Болеславовна перевезет свою библиотеку из города полностью, потребность работников биостационара в духовном, по крайней мере в том духовном, что содержит всякая хорошая книга, будет утолена. Да ведь и домашних читателей двое — муж, увлекающийся по преимуществу мемуарной литературой, и сын Виталик.

Марина Болеславовна и кулинар достойный, а уж по части засолки рыбы и точно великий мастер. Гольца, малосольную ряпушку готовит так, что через день-два, во-первых, можно и на стол подавать, а во-вторых, что за продукт! Пласты рыбы переложены чесноком, специями, они пряно тают во рту, и рука невольно тянется за следующей долькой. А ведь тут на столе бывают и иные деликатесы (в этом году замечательная повариха; в прошлом юноши-практиканты кулинарного училища кухарили, до сих пор воспоминания об их готовке вызывают у всех на стационаре глухую тоску, если не изжогу).

Особенно вкусны и великолепны обеды после субботников, которые здесь часты. Связаны они либо с уборкой территории, либо с ремонтом бани, либо с заготовкой дров, грунта для теплиц. Без большого желания (как на духу), но вполне по своей воле участвую в них и я. Да и полезно бывает немного размяться, помахать топором, потаскать доски и бревна... Вот уж когда по-настоящему можно оценить деликатесное изоби-

лие вплоть до окрошки со свежими огурцами (своего комнатного урожая, неоднократно снимаемого за лето), тушеной зайчатины... Битых зайцев, оказывается, еще с зимы держат на той стороне Чауна у охотников в леднике. Понадобится — махнут туда на «Прогрессе», возьмут сколько нужно — и назад.

Разговорился я однажды с рабочим Анатолием — и швец, и жнец, и на дуде игрец, но скорее всего печник. Обычно только мы вдвоем смотрим до конца после ужина всю телевизионную программу. Собеседник мой уже не первой молодости. Жиденькие бородка и усики, обветренная, чуть морщинистая, кожа, а глаза среди всего этого — блекло-синие, пронзительные, глаза страстотерпца, кричащие о чем-то своем несостоявшемся, безвозвратно упущенном, болезненном, как заноза...

Негладкая у Анатолия биография, но и не из ряда вон. Среднетехническое образование, неглупый, читающий. В этих краях давно. То с геологами на Мысе Шмидта, то подается куда-то с золотодобытчиками на прииски. Но прошлой зимой был уже здесь, на стационаре. И все рабочим, петляющая, без постоянного причала, эта жизнь ему, видно, по нраву...

И вот выпало ему какое-то время пожить в домике Поспеховых, пока они сами ездили на вездеходе в Певек. Однажды вышел лунной ночью, — это было «в аккурат» 14 марта, — и глазам не поверил: там, где стыла подо льдом река, волнообразно, текуче и нескончаемо что-то колыхалось. Протер глаза, всмотрелся пристальней — батюшки светы, зайцы-беляки! Они почти не отличимы под луной от снега. Весенняя миграция зайцев на остров, облюбованное ими ристалище.

— С полтыщи их было, никак не меньше,— убежденно сказал Анатолий.— Потом, как-то бродя по острову, опять на них наткнулся, голов на двести, как раз у них был гон, по-видимому. Близко не подпускали, и лишь один, которого я и прихлопнул, что-то потерял бдительность, отстал от своих. Бегал я за ними тогда и по острову, и в его окрестностях, километров до сорока накрутил.

Он сказал еще, что в лунном свете той ночи передвижение такой сплошной массы зайцев казалось таинственным и завораживало — легкий шорох серебристо светящихся тел, волнообразное их движение...

— Но как, вероятно, тягостно коротать здесь долгую полярную ночь! — невольно вырвалось у меня.

— Да нет,— не согласился он,— зимой здесь даже интересней.

— То есть как интересней? Когда ночь да ночь, без всякого, можно сказать, проблеска? На психику разве не действует?

— Ну, это как смотреть. И какая психика. А если с позиций Поспеховых,— пожал плечами Анатолий,— то почему бы им тут и не жить. Вот привезут сюда из Певека библиотеку, тысячи две-три томов, читай не хочу. Здесь, в совхозе, обещают им на зиму охотничий участок, песца хотя бы промышлять, тех же зайцев... А они такое уединение, природу любят, она и обеспечит всем необходимым, рыбой в том числе. Да зимой пойдешь к проруби, подновишь ее и за час на удочку сотню корюшек надергаешь!

Может, и верно. Марина Болеславовна, что ни говорите, при всей своей интеллигентности, навыках организатора-руководителя,— все-таки еще и прирожденный охотник. Правда, в этом

качестве я ее не наблюдал, но и оснований не верить нет. Заведовала как-никак любительской охотой двух огромных районов, по иным понятиям целого государства.

Иногда биостационар навещают вертолеты, хотя вроде без видимых причин и явной необходимости. Особенно пожарный часто гостит. Если пожаров нет, полетают-полетают да и: «А ну-ка к Марине Болеславовне на чаёк!» Многовато, правда, охотников до чая, но ведь и вертолетчики могут быть полезны: письма взять-привезти, посылку, груз какой-нибудь, а то и пассажира...

А надо сказать, что птиц в пределах стационара полно. Марина Болеславовна, из уважения к моей фотоохотничьей страсти, завела меня за угол старой дизельной, где на перекладине заброшенного верстака чечетка вывела четырех чеченят. Серенькая птица чечетка, серенькие, ничем не примечательные у нее и птенцы. И гнездо из сухих веточек как нельзя неприметнее вписалось в пепельно-взъерошенную, измызганную дождями фактуру деревянных брусьев. Сколько я здесь ни ходил, гнезда не видел! Да что я, кошки его не замечают, хотя оно как бы даже вопиет своей неприкрытой обнаженностью. Обычно чечетка гнездится в кустарниках, тут же никаких поблизости кустов. Жить, однако, надо, вот и приспособилась. Даже в такой опасности: дети — раз, кошки — два, да и свирепые охотничьи собаки переплывают с той стороны Чауна, чтобы вволю порезвиться в птичьих угодьях Айопечана, среди его неисчислимых гнезд. На той стороне некогда был охотничий стан, но наводнением его смыло, остались два-три домика и подсобки... Вот оттуда и отчаливают собаки, чтобы сотворить тот или иной разор на Айопечане.

Вообще, поразительно, почему птицы, пусть и не все, так откровенно льнут к человеческому жилью. Даже у самой дизельэлектростанции квартируют. А она тарахтит, гугукает днем и ночью, шум, грохот, полный для птичьей сестры дискомфорт. Но рядом совсем гнездятся морянка и тулес, некий белохвостый песочник умудрился устроить гнездо даже в лодке... Обнаружив этот феномен птичьего поведения, Светлана Кирилловна в недоумении заметила:

— Каким же образом думает мамаша выводить из лодки птенцов, они же будут скатываться вниз?

Другой белохвостый песочник расположился чуть ли не на тропинке между домами. Пришлось огородить этот участок заметной по цвету веревочкой и воткнуть палку с предупредительным знаком в виде вырезанной из жести и соответственно раскрашенной птенчиковой головки. И вот прилетел как-то в очередной раз пожарный вертолет, летчик которого, добродушно-рыхловатый от сидячей жизни Коля, любил приземляться на одном и том же пятачке, ограниченном с двух сторон домом-лабораторией и «салуном» Контримавичуса, а с третьей — рекой. Пятачок настолько мал, что мнится, будто лопастями винта вертолет того и гляди снесет крышу с «салуна» или еще что-нибудь заденет. Когда вертолет сел, я прикинул на глаз, что от ближайшего столба с надписью «БИОСТАЦИОНАР ИБПС ДВНЦ АН СССР», выполненной шляпками вколоченных в дощечку гвоздей, до лопастей оставалось едва ли больше двух-трех метров.

Никто, впрочем, не волнуется, привычны к тому, что Коля садится предельно точно и с шиком, чуть ли не зависая хвостом машины над рекой. Но на сей раз мы встревожились не на шут-

ку: Коля, что называется, пер на буфет, грозя перебить посуду. Бедную белохвостинку сдуло с гнезда, и она улетела. Когда вертолет угомонился, винты остановились, легкий мусор и пыль опали, птичка, словно ничего такого только что не стряслось, скорой припрыжкой возвратилась к гнезду и засуетилась у ног людей, совершенно как бы и не страшась ни этих ног, ни нависшего над нею хвостатого зверюги.

Колю упрекнули в неосторожности, причем в резком тоне, и показали яички в гнезде. Он ответил безобидно-снисходительно, впрочем уважая хозяев и их причуды:

— Да я и сам заметил, что-то вроде огорожено, — значит, дальше нельзя, пора садиться.

Вряд ли он видел эту веревочку загородки, просто цену себе набивал, вот я какой ас, где хошь припечатаюсь, — но, может, и видел. Тогда виртуоз. Хотя птичку он все же напугал.

Вертолетчики у Марины Болеславовны «свои люди». И она сама — Север все-таки! — летает много. И не без приключений иногда.

Рассказывают, например, летели однажды на «аннушке», и один из ухарей-весельчаков, не вписывающихся в рамки летных правил, вдруг оборачивается к Марине Болеславовне и говорит:

— Счас я тебе покажу невесомость.

Сделал «горку», потом свалился круто вниз, так что действительно под потолок самолета ее вжало. Внизу со страхом наблюдали, чего там летчик дурит, может, стряслось у него что?.. Показал он так «фигуру высшего пилотажа», потом еще одну, и маленькая лыжа в хвосте — так называемый лыжонок — отлетела. Садились на лед озера, чертя хвостом немыслимые зигзаги, но, в общем, если не считать потерянного лы-

жонка и малоприятных ощущений у Марины Болеславовны, этот показ «невесомости» имел благополучный исход.

В другой раз дело было на вертолете. Тоже ухарь за штурвалом сидел. Летели над поселком, стояла белая ночь, никто из домов не показывался. Летчик такого непочтения перенести не мог — вот я их разбужу, мол! Я им продемонстрирую. Спустился ниже, пролетел над крышами, поднял рев, взвихрил винтами тучу мусора, и рваным полиэтиленовым мешком захлопнуло у вертолета воздухозаборник. Вертолет так сразу и плюхнулся. Хорошо опять же, что не на дом, хорошо, что низко было, отделались ушибами, машину слегка помяли.

Вот такие «приключения», говорят, случались с Мариной Болеславовной. А были ли они на самом деле? Неизвестно.

Пользуясь некоторой «зависимостью» вертолетчиков от горячего чая, Марина Болеславовна просит, чтобы однажды взяли и меня «на облет территории». «Но только с возвратом на место, а то знаем мы вас!» И те вежливо пообещали и вскоре забыли об этом, чему я нисколько не огорчился, еще не решив как следует, нужен мне такой облет, визуальное знакомство с территорией, или не нужен. Хотя как заранее знать, где потеряешь, а где найдешь.

Если Марина Болеславовна видит, что человек сам по себе не очень настойчив, а то и попросту нерешителен, не ориентируется в обстановке, она сделает для него все, что в ее силах, используя свой немалый авторитет, собственные возможности, просто энергию деятельной натуры. Что касается моего возвращения в Певек, она заранее всюду звонит, предваряет, выдает мне лестные характеристики (опасаясь упрека в

саморекламе, не буду их повторять), а в Певеке пойдет в райком по своим партийным заботам, но не преминет при этом и за меня замолвить словечко, попросить о содействии. Дело в том, что Агафонов, с ходу устроивший мне поездку на Айопечан, улетел в отпуск. И мне предстояло искать другого «покровителя». С легкой руки Марины Болеславовны им стал секретарь райкома по сельскому хозяйству и строительству Владимир Михайлович Етылен.

В Певеке, куда мы прилетели вместе с Поспеховой, она отвела мне отдельную комнату в своей квартире, среди обилия книг, камней и разнообразных удобств, какие вообще, в большей или меньшей степени, мог предоставить человеку арктический город.

Сразу же в доме стало шумно, появился народ, друзья Марины Болеславовны, товарищи друзей и просто знакомые, в привычку вошли поздние чаи (все равно белые ночи, не поймешь, поздно ли, рано ли, если не глянешь на часы, а на них не смотрели), позванивал тонкий фарфор чайного сервиза «Мадонна» (пастораль, младенцы с крылышками, эти самые купидоны, то ли Диана с приспешницами, поскольку наличествовал колчан со стрелами).

Разбили хрустальный бокал? Уже? Жалко, понятно, здесь не достанешь, но шут с ним, не обращайте внимания. Все-таки северяне, копейку на посуду заработаем всегда. Что?.. И чашку из сервиза тоже?.. Ну, даете! Вы немного поосторожней, все-таки «Мадонна», не глина обожженная...

Дом ее — дом для приезжих, поскольку и помимо меня в нем живут день, два, временно, кто-то живет почти всегда. Как-то утром заглянул чукча-охотник с острова Айон Трофим Тынарах-

тыргин — узнал, что здесь Поспехова (естественно, Певек слухами полнится). Оказалось, охотничьи его дела — швах, лежит в больнице. Когда его пятидесятилетие праздновали, из райкома в больницу нагрянули, на время увезли с собой, речи говорили, подарки, грамоты вручали. Нет, не забывают Тынарахтыргина, знаменитый охотник был еще недавно, ну и, понятно, вот подлечится и свое еще возьмет.

— Слушай, тебе чего надо, вот когда из больницы выйдешь? — спросила у Трофима хозяйка.

— Капроновую бы нитку мне, — поразмыслив, ответил тот.

— А, нитку... ее не достать. Но я позвоню Шаврину, он где-нибудь расстарается и пошлет тебе.

— Да мне здесь нужно. Скучно лежать-то. Я бы сеточку вязал. Иглица у меня есть.

— Ладно. Ты где лежишь? В терапии? Запиши телефон Шаврина, он тебе найдет. Ты давно оттуда, с Айона? Рыба идет?

— Идет. Ряпушка. Голец. Сейчас вялится у меня там на участке. — Немного помолчал, вдруг лицо его, смугло-коричневое, морщинистое (у чукчей рано появляются морщины, северный ветер — завзятый дубильщик), трогает смущенная улыбка: — Новую станцию-киловаттку получил.

— Ой как хорошо, — искренне обрадовалась Марина Болеславовна. — Но мы тебе еще одну подкинем. Не помешает. Ты вообще не стесняйся, спрашивай, если что нужно...

— Самый больной проблема у меня — пенопласт на поплавки.

— Вот видишь. И сидишь молчишь. Тебе плотный пенопласт или пористый, жидковатый? Плотный? С плотным хуже. Но ничего, я посмотрю

на стационаре, там ненужные куски, обрезки...

Тынарахтыргин с детства воспитывался в русской семье, поэтому хорошо говорит по-русски, был и председателем сельсовета на Айоне.

— Слушай, а «Электрон» работает, что мы тебе дали?

— Работает, работает, кино смотрим!

— А что у тебя за болезнь, тебе хоть говорят?

— Ничего не говорят. Не знаю. Болят ноги — и всё. Для охотника беда.

— Вылечат, как же так? Вылечат! Должны вылечить, медицина сейчас мощная, ты еще побегаешь. Ничего, ничего! Вот там попозже мы тебя проведаем, подкинем кое-что для хозяйства. На лодках. Там сколько идти, если по тому плохому углу бухты? Сорок километров? Ничего, дойдем.

Трофим кивнул — мол, будем ждать — и мечтательно прищурился:

— У нас хорошо там сейчас. Ромашки цветут, утка на озерах шебаршится, гуси бывают. Хотя, э, что за гуси! До войны, помню, к гусю подходишь, когда он у речки, камнем замахнешься, а он сидит себе. А сейчас за километр не подпустит — стрелой в небо. Не то сейчас. А все равно — природа, тундра. С чем сравнить? Не с вашим же городом. Красиво.

Наташа Пешкова (она тоже здесь, к зубнику приехала) предложила на правах сохозяйки:

— Мясо есть будете? Сварить?

— А какое?

— Кажется, говядина. Мороженая...

— Н-нет. — Трофим, как видно, стосковался по оленине, а ее человеку тундры никакое другое мясо не заменит.

Тем временем Марина Болеславовна спрашивает:

— Ну, что тебе еще? Ну, для магнето кулачки, дросселя?.. Стартер нужен?

— Очень нужен. И винт нужен.

— Будет и винт. Давай, давай, только не молчи, что у тебя еще?..

— Ну, если еще — патроны двенадцатого калибра. Гильзы под центробой. Под жевело — не надо.

— А дроби дать?

— Есть у меня дробь. Не надо.

И вот такой диалог — на протяжении полутора-двух часов. Наконец вволю попив чаю (ведь какой в больнице чай?), Трофим ушел, по старой многолетней дружбе расцеловавшись с Мариной Болеславовной. А у нее, раз уж она оказалась в Певеке, уйма хлопот и встреч. Времени нет, — к тому же нужно ловить момент, просвет в погоде, знакомого вертолетчика, чтобы подкинул ее, если попутно, на биостационар. Ибо основная ее деятельность в качестве начальника, на плечах которого все хозяйство, именно там. Но и в Певеке вот так необходимо возобновить кое-какие связи, достать разные дефициты, запчасти, — для того сюда и прилетела.

Пожалуй, я не смогу передать словами, сколь незаурядна эта женщина, какая в ней таится энергия, какая кипучая и деятельная эта натура. И как она добра, широка по натуре, всегда готова помочь человеку, испытывающему те или иные затруднения. Словом, Марина Болеславовна — женщина Севера. Нет, далеко не все женщины здесь такие, но именно такими, наверное, они должны быть. Хотя бы отчасти. Хотя бы через одну. Потому что Север не терпит слабых и инертных.

У ГОРЫ НЕЙТЛИН

Возвратимся, однако, на биостационар, поскольку еще не скоро придет тот час, когда всесильная Марина Болеславовна поймает по радио в эфире и посадит близ столовой вертолет, который доставит нас если не в Певек, то хотя бы в Валькумей (оловопромышленный рудник). Оттуда восемнадцать километров мы уж как-нибудь преодолеем на пассажирском автобусе. Но все это, повторяю, еще впереди, а очередная моя забота на биостационаре — отправиться с женщинами по маршруту в некие их дальние дали, куда они добираются обычно на «Прогрессах». Такая возможность наконец представилась, момент выбран мной верно, осечки быть не может — и я прошусь у Бируте Восилите прокатиться в качестве, ну, если угодно, наблюдателя (вкладываю в последнее определение малую толику иронии,— мол, такова уж профессия)...

Бируте несколько озадачена, — все до сих пор ездили без наблюдателя, а тут на тебе, почему-то именно на ее долю достался, — но в принципе, конечно, не возражает.

На речку Пучевеем идут два «Прогресса»: в одном Ваня Обушенков с Наташей, в другом я с Бируте да еще Виталик Поспехов на руле. Выезд капитальный, с ночевкой. То, что мне нужно.

Мели, везде мели, и забавно смотреть, какие неожиданно крутые виражи закладывает Обущенков, с шиком обходя подозрительные места, выписывая симметрически согласующиеся между собою кривые. На прямых участках, где наличие мелей, по наблюдениям последних дней (а сздят здесь постоянно), не предполагается, на руль садится Наташа Пешкова, а Ваня дает

ей ценные указания. Говорят, в прошлом году на стационаре практиковала юная жена Вани (сейчас он гордится здоровым потомством). Когда мотор отказывал, она садилась за весла, а Ваня, возлежа на носу, высматривал мели (по известному образцу: тебе, мол, что — греби да греби, а мне о жизни думать!). Хотя не исключено, что все это наговоры на безобидного парня.

Вообще же, когда он на руле, то мчится лихо, очень лихо. Хорошо, что не склонный к внешним эффектам, вдумчивый и серьезный Виталик не реагирует на его провоцирующие зигзаги и ведет нашу лодку спокойно, по выверенным прямым и кривым. Так оно и вернее. Потому что уже недалек тот день, когда «невезучий» (а при всей показной броскости поведения он все-таки невезучий) Обушенков вынужден будет возразить своим оппонентам: не везет, не везет, но должно же когда-нибудь и повезти наконец! После чего сядет в моторку и погонится за этим самым везением очертя голову (речь идет прежде всего о том, что он пока не может собрать и доказательно соотнести между собой необходимый для его темы научный материал). Так вот, эффектно ведя «Прогресс», стоя на нем в рост, Ваня вдруг заметил, что в обрыве из грязно слезящейся линзы мерзлотного льда, этакого мутного глаза доисторических эпох, торчит не иначе как бивень мамонта. Он резко довернул в берег, всматриваясь в предполагаемый бивень, забыв, что возможны мели да и что сам берег — вот он... В итоге лодка с разгона врезалась в мель, от толчка Ваня скатапультировал вперед, ударился подбородком в металлическую окантовку ветрового стекла, содрал лоскут кожи и, падая за борт, сильно ушиб ногу. А бивень мамонта оказался всего-навсего сухой корягой...

Первым, кто его увидел в столь плачевном состоянии, и первым, кто пришел на помощь, был Гена Атрашкевич. Оторопев от страшноватого зрелища искорябанного Ваниного лица, он сказал в легком шоке:

— Сейчас, сейчас, Ваня, я только запечатлею тебя на цветной пленке, в назидание потомству,— а уж потом к твоим услугам!

Дал ему строго пятьдесят граммов спирта — подотчетный ведь! — и затем начал с помощью ножниц и прочих подручных средств операцию. (Атрашкевичу следовало бы благодарить судьбу, не подсунувшую какого-нибудь сверхоперативного фотолюбителя, когда он сам «терпел бедствие» и видик имел не из лучших... Однажды год или два назад по случайному стечению обстоятельств он остался на том берегу без лодки, причем на виду у всего биостационара. Комаров роились тучи! Он спасался от них тем, что бегал взад-вперед по берегу. Коллеги с недоумением наблюдали за ним, полагая, впрочем, что все эти зигзаги и финты он затеял, выслеживая какую-то дичь. Выбирает, мол, позицию, где удобней залечь. Часа через два пришли, однако, к выводу, что слишком уж долго возится он с этой позицией, пора бы и угомониться. И поехали к нему.

Комары так изгрызли Гену, что он почернел и опух. Признался, что уже думал бросаться в речку и плыть, но не рискнул, вода ледяная, да и как раздеваться при таком комарье?.. Вот тут и пригодился бы снимочек для потомства и себе же в назидание, — лучше, конечно, на цветной пленке!)

Сутки спустя, когда стало ясно, что ничего не поправимого с Обушенковым не случилось, над ним стали подшучивать:

— Ты теперь с этим твоим содранным подбородком как бурш, завзятый дуэлянт.

На что неунывающий Обушенков со значением пропел речитативом:

— Шрам на роже, шрам на роже для мужчин всего дороже!

Но пока до заветного шрама еще далеко, пока лицо у Вани вполне благопристойно и ничем решительно не выделяется, кроме разлитого на нем вроде бы и беспредметного ликования. Да и как, скажите, не ликовать в азарте и запарке столь быстрой езды, в ощущении неограниченной своей власти над моторкой?

Вот и первая остановка, ткнулись в берег. Ваня поднимает раструбы резиновых сапог и прыгает в воду, увлекая за собой лодку. Мы швартуемся рядом.

Оказывается, Ване предстоит перенести на гору, где обитают песцы, изрядное количество железных капканов: срочно нужно отловить песца. Я пока смутно представляю, для чего тот Обушенкову нужен. Но догадываюсь, что он, возможно, изучает песцов как переносчиков паразитов в цепи мышь — песец — человек. Либо будет их заражать специально, как тех симпатичных щенков во дворе биостационара.

Женщин оставляем, сами же, нагруженные капканами, втроем идем к песцовым угодьям. А дорога — просто болото. Мерзлотное причем. Как я ни стараюсь выбирать места помельче, кончается тем, что вода хлынула даже за подтянутые до паха голенища. Когда в сапогах вода и портянки сбиваются, натирая волдыри, жизнь заметно начинает горчить, возникают в ней нежелательные оттенки. Тут как тут отрицательные эмоции. Вот и злюсь. На тех, что впереди. Сами молодые, длинноногие, здоровые, к тому же лег-

ко одетые, — я же запарился, увяз, отстал, капканы упираются в спину всеми железными сочленениями и ребрами.

Конечно, здесь красиво. Если, конечно, отбросить собственные переживания. С пронзительно-синего под низким солнцем озера взлетают два пронзительно-белых лебедя — с шумом, с тяжелым хлопаньем крыльев, с осыпающимися с лап и перьев брызгами. Какая-то тонкая особенная грусть, когда видишь все это белой ночью. Вот ночь белая, — а во всем придавленность и словно бы нарочитость: не верьте белому, не верьте и свету... все-таки ночь!

Однако те, впереди, могли бы и притормозить. Чего они меня совсем уж так... позади... замученного... И самолюбие как-никак страдает. Разумеется, мое. Если такие скорые, зачем было вообще нагружать меня капканами и тащить через три болота, — могли бы и вдвоем справиться, сила есть. Либо Ваня решил подкинуть мне острых ощущений для будущей книги? Чтобы прочувствовал, как оно тут в маршрутах, чтобы на себе испытал, как, мол, живут они тут, в каких условиях работают. Эту самую романтику чтобы взял на зуб... Ну что ж, быть может, и справедливо. С той лишь поправкой, что все это мне уже знакомо. Сколько таких болот исхожено, сколько рек переплыто, сколько хребтов, пусть и не очень высоких, преодолено. Но все в прошлом. А сейчас вроде уже и не по возрасту такое занятие. Старею. Устал. Все, что мог, в основном уже совершил. Конечно, есть еще порох, но не столько же его, чтобы с молодыми на равных тягаться.

Такие вот мысли одолевают меня, когда я с мукой мученической преодолеваю очередное болото, кажется, последнее. (Любопытное ощущение, когда идешь, идешь и вдруг поскользнешься

на линзе чистого мерзлотного льда, ведь сверху его не видно. Можно навзничь плюхнуться, можно и ничком, — нужно быть предельно внимательным.)

Наконец та самая сопочка, поросшая жидким кустарником. Передышка. Не хочется думать, что возвращаться придется по тем же болотам, одно лишь утешает, что без капканов.

Глухо звякают они, когда я с чертыханьем бросаю рюкзак на кочки. Комары здесь неистовствуют (уже и комары — сколько ждали!). Первое мое желание взобраться повыше на взгорочек, где их немного сдувает, сесть и не спеша переобуться, вылить из сапог воду, выжать и слегка подсушить на ветру портянки.

Обушенков, бряцая внизу капканами, понял меня по-своему:

— Леонид Михайлович, смотрите не делайте там пи-пи!

(Сверхделикатное обращение, то же самое и лексикон, — как бы не шокировать...)

Я и шокирован был — в меру.

— А то что будет?

— Песцы унюхают и могут покинуть этот участок. В некотором роде вы как чужак, нарушивший их территорию.

— А-а, вон куда вы. — Вспомнилась аналогичная ситуация из книги «Не кричи, волки!» Фарли Моуэта. — Что ж, постараюсь. — И все же уточнил, блюдя достоинство: — Я, собственно, от комаров бегу... А мы тут долго будем?

— Да пока не насторожим и не поставим ловушки на песцов вот здесь, а в районе нор — капканчики для полевок.

— А много тут мышей? Ведь какой холод, есть, поди, нечего...

Ваню всего аж передернуло слегка.

— Леонид Михайлович, ну сколько вам говорить, что здесь мышей нет, у мышей хвост длинный, в половину туловища, у полевок короче. Здесь полевки, полевки-и... — Немного успокоился, переборол оторопь, вызванную вопиющим моим невежеством: — На острове два вида леммингов, сибирский и копытный, и три вида полевок. В основном полевка-экономка, и это вовсе не мышь. Экономка — из-за ее запасливости. Якуты, говорят, этими ее запасами даже пользуются — то ли сами едят, то ли лошадям скармливают. Лошади у них особенные...

Прослушав эту маленькую лекцию, взбираюсь еще выше, карабкаясь через кустарник и обходя песцовые норы. Их здесь порядочно нарыто, но самих песцов нигде не видно, и мало надежды, что Ваня какого-либо поймает (так и вышло — не поймал, по крайней мере, пока я был на биостационаре). Тундра в рассеянных лучах притомившегося солнца лежит неохватная, стылая и загадочная. Блестят бесчисленные озера, словно кто-то щедрый от души сыпанул горсть истертых серебряных монет. Пробуждающаяся буро-зеленая земля там-сям пестрит заплатами рыхлого снега: прямо-таки физически ощущаешь и неудобства и холод, которые она испытывает от этих плотно прилипших к ее набухающему, выздоравливающему телу зябких пластырей. Вдали мирно пасутся три оленя. Двое лежат, и я заметил сразу лишь стоящего. Видимо, отбившиеся от стада и теперь вот живущие сами по себе. Такая в них беззащитность. И впрямь, кто их убережет от волков? В стаде спокойней, в стаде волк еще догонит или нет, в стаде оленей тысячи, есть для волка выбор... А тут ты как доступная и единственная мишень — стреляй в упор... или рви зубами.

Словом, им, бесхозным, не позавидуешь. Но они-то этого, по-видимому, не осознают. Не утруждают себя «раздумьями» о возможной беде, пока она не станет явью. Скорее всего, даже не волки им опасны, а люди, эта приближенность к берегу, к жилью. Отбившийся от совхозного стада олень становится как бы ничейным: к нему он теперь ни за какие коврижки не примкнет, и в то же время не дикий, за него никто не оштрафует. Стрелять на мясо, если попадется в поле зрения, можно без угрызений совести и не опасаясь за содержимое собственного кошелька.

С омерзением взбаламучивая сапогами болотную жижу, кое-как дочапал обратно.

«Прогрессы» рванулись по Чауну, словно истомившиеся в стойлах жеребцы. Ваня неистощим в демонстрации приемов «вольтижировки» на своем м о т о р е... Нас мотает от мелей низменного берега, от желтеющих пляжей к зелени вечного льда обрывов. И чего-чего в этом льду не заморожено, в этом вместилище драм ледниковых эпох! Нет-нет да и вымоет из крутизны полой водой какие-нибудь научно бесценные кости.

Столько проток, поворотов и загогулин, что я и не уследил, когда вырвались на гладь реки Пучевеем. Она ничем не отличается от Чауна, никаких особых примет. За одним из плавных понижений берега, в затишке от бесформенно-приплюснутой горы Нейтлин, показалась охотничья хибара отца и сына Лесковских. Сын недавно демобилизовался и возвратился на Чаун. Зверя промышляют порознь, а вот рыбу для привады, на сдачу и для себя — вдвоем. В одиночку невод не очень-то потаскаешь.

Ваня Обушенков настолько галантен, что, управившись со своей лодкой и подойдя к нашей, помогает Бируте взойти на берег.

— Возьмите руку, — лучезарно лыбится он.— Ну, не то чтобы руку насовсем и уж тем более...

— Поняла, поняла, Ваня, — смеется Бируте, протирая на берегу очки, забрызганные водой. — И уж тем более не сердце. Сердцем ты не рискуешь ни при каких обстоятельствах.

Здесь предстоит ночевка — все для этого условия. Конечно, в хибаре, заваленной тюфяками и оленьими кукулями, тесновато. О том ли печалиться? Главное, сухо и печка железная есть. Растапливать ее пока незачем, чай вскипятить можно и снаружи. С этой целью начинаю что-то рубить, собирать вокруг щепки для костерка... такое ладное место выбрал на взгорочке близ реки!

Но подошел Виталик и, смущаясь от самой необходимости делать замечание, сказал, что костер жечь не нужно. Обойдемся. А чайник вскипятим на паяльной лампе. Поскольку я ничего не понял (ведь костер — такая для души и для глаз услада), Виталик, все так же неловко подбирая слова, ссылается на Лесковских. Ведь им может и не понравиться, как мы тут хозяйничаем... костры жжем из заготовленных ими дров, зверя, птицу пугаем... у них, у Лесковских, на сей счет могут быть и свои соображения. Им здесь жить и промышлять. И хибарку они сами для себя соорудили. Сделаем что-нибудь не так — в другой раз уже не воспользуешься ею для ночевки, морального, что ли, права не будет.

Верно рассуждает Виталик Поспехов. Уважительно относится к чужому охотничьему жилью, наконец, и к этой вот дикой природе. Незачем лишний раз пятнать ее кострищем. Марина Болеславовна с некоторым недоумением говорила о том, что сын чудит. Горный институт оставил, в биологию навострился переметнуться.

Возможно, насмотревшись здесь на занятия биологов, участвуя посильно в их работе, маршрутах. Что ж, в 21 год еще не поздно менять ориентацию. Мать, к ее чести, тоже верит в здравые побуждения сына — пусть действительно выбирает профессию по душе. Это ведь не на один день — на всю жизнь. Ему, рослому, крепкому парню, впрочем, и геология была бы по плечу. Тем более, я знаю, он тянется к минералам, у него великолепная коллекция полудрагоценных и декоративных камней чуть ли не со всей Чукотки, которые он собрал, бывая в различных экспедициях. Человек он по-своему уже бывалый. Позже я видел в Певеке в краеведческом музее находки, подаренные «техником арктической группы Виталием Поспеховым», — некий «крылатый предмет», костяные наконечники гарпунов, костяное шило, каменный жирник, чашу из древесного нароста — капа и несколько отполированных сердоликов.

Пока Виталик кипятит чай на паяльной лампе, я готовлю к завтрашнему дню фотоаппараты, брожу в окрестностях. Близко от хибары наткнулся на гнездо чечетки с выводком — положительно, чечетка ищет общества людей. Тем временем из маршрута на ближние озера возвратились Бируте с Наташей. Бируте взяла на нарах меховую кухлянку Лесковских, напялила на себя: похожа ли на чукчанку? Сказали, что похожа, и я не преминул сфотографировать ее в этом необычном наряде, необычно оживленную (располагала обстановка — вырвались на целых два дня в такую глухомань, такая избушка рядом «на курьих ножках», сопка манит как бы отпрядывающими, восходящими ввысь террасами, — от всего этого вроде и сам растешь, приподымаешься, впитываешь в себя нечто будоражащее).

— А носят ли чукчи очки? — вдруг засомневалась она.

— Раньше, понятно, не носили, — ответил я, — никто им их не прописывал, а сейчас почему же?.. Цивилизация все-таки.

— Тогда, значит, сойду за чукчанку. Пошлю друзьям фотоснимки — вот какая я, глядите! Что со мной Чукотка сотворила...

Не очень-то и «сотворила». Вид у Бируте сугубо европейский. В поездке — хотя бы и в этой вот — в вельветовых брючках. Можно бы и в защитных спецовочных, но нет. Здесь принцип. Всегда тщательно одета, какие-то свободно облегающие кофточки, не сковывающие движений. На пальце скромный серебряный перстенек с тремя «глазками» бирюзы. Подарок брата, он художник-прикладник.

Наташа мается зубами и оживлена менее обычного, хотя по натуре склонна подурачиться. Позже, когда в Певеке ей все-таки пришлось расстаться с зубом, я глуповато полюбопытствовал, не жалко ли? «Жалко, — сказала. — Но что поделаешь? Зубы для меня — или я для зубов?»

Попив чайку, Обушенков уезжает назад к капканам, что-то ему нужно проверить, проследить. Это надолго, почти до утра.

В хибарке натоплено, на нарах тесно, да и комары, — не спится. Бируте — она лежит в углу, где удобней, — неспешно рассуждает:

— Ване не позавидуешь. Все эти червяки, глисты кишечные, возись с ними, исследуй... брр!.. — Она брезгливо поежилась.

— Что-то не пойму... Вы же сами гельминтолог!

— Пожалуйста, не путайте, — наставительно отозвалась она. — Я изучаю гельминтов насекомых — это материя почти эфемерная. А Ваня не

энтомогельминтолог, а зоогельминтолог. Совсем не та материя.

Вон оно что! Есть-таки разница...

— Все же, при таком взгляде на вещи, как вы-то пришли в гельминтологию? С детства, что ли, мечтали в червяках покопаться?

— Не с детства, разумеется. В детстве мы о разном другом мечтаем. — Она помолчала. — Когда я окончила биофак Вильнюсского университета, была у меня мечта специализироваться в чем-нибудь редком, чуть ли не таинственном в биологии. Ну, мне и предложили стажироваться в энтомогельминтологии. Что такое «энтомо», я как-нибудь уже разбиралась, а вот гельминтология — это так непривычно для уха звучало. Ну и... согласилась. Потом аспирантура, защита диссертации, потом вот должность младшего научного сотрудника в институте биопроблем Севера.

Что ж, каждый марширует под собственный барабан.

Духота. Сон прерывист. К тому же часов в пять утра прикатил Обушенков. Теснить нас не решился, залез под нары, там хоть было прохладно. Встали все рано. Я же попросил разбудить меня перед уходом женщин. У меня была своя задача — подняться на гору Нейтлин (метров шестьсот) и сфотографировать величественную панораму окрестностей. Да и вообще сверху видней, что к чему, что с чем согласуется.

Позавтракал подостывшей уже фасолью с тушенкой. Выпил то ли чаю, то ли кофе. Был расчет прихватить с собой кусок сырокопченой колбасы, но сколько ни искал ее по всем закоулкам и среди продуктов на столе (завтрак был приготовлен под открытым небом), нигде не нашел. Колбаса должна была остаться, даже если женщины и взяли немного с собой. И тут из-за угла избушки

выглянул крупный белесый, с рыжими подпалинами евражка, домовито просеменил вокруг... увидел меня, остановился, долго изучал... после чего отбыл восвояси. Да и грех за собой знал: стянуть со стола всю колбасу! Это надо же...

И зачем оставили? Видели же накануне поблизости горностая, почему бы и горностаю не поесть дефицитной колбаски? А впрочем, кто мог знать, что обитель охотников осаждает всяческое зверье, птицы по соседству гнездятся? Позже выяснилось, что тот же евражка столкнул со стола открытую банку паштета и уже внизу, в укромном местечке, кое-как управился с ее содержимым. А может, и зря грешу на симпатягу?

— Эти сусла, — небрежно сказал вчера Обушенков с позиций своего многомудрого опыта, — слишком далеко забрались на север. По всему, им южнее нужно жить, но приспособились...

То ли еще будет.

А пока, все еще жалея о добром куске колбасы, налегке, если не считать нескольких фотоаппаратов, начинаю взбираться на гору Нейтлин. Подъем здесь пологий, да и по возможности я не спешу. Выйти на плечо горы не составило труда. Дальше пошли камни, камни, камни, нагроможденные террасами. По камням идти хуже, но и интересней, они разновелики, неодинаковой формы, иногда напоминают пластины шифера, иногда это кубы и треугольники. Попадаются места, где эти серые андезиты (скорее всего) затейливо разукрашены черными, светло-зелеными, салатовыми, желтыми и оранжевыми накипными лишайниками. Право же, занятно! Где-то восхищаешься розами, здесь не пройдешь мимо лишайников. И не менее впечатляет, хотя, конечно, и не благоуханно, с розой не сравнить.

Вспугнул с дюжину молодых куропаток, си-

девших в камнях, испятнанных ломко-шуршащими лишайниками. Напрасно взлетели, все равно они под цвет камней, прошел бы, не заметив... Из-под наклонно стоящего, плоского камня-навеса выскочил вдруг заяц, завидно щеголеватый, как бы даже голубой, с белыми чулочками на ногах. Элегантными прыжками, не торопясь, блюдя заячье достоинство, удалялся он от меня, а я ошалело смотрел ему вслед: ну, хорош в своем доме! Хорош... Конечно, как всегда в таких случаях, я не был готов к тому, чтобы его сфотографировать.

Преодолевая террасу за террасой, взобрался наконец на высшую точку горы Нейтлин. Это было не так уж трудно даже мне, нетренированному... Виды отсюда открывались жесткие по краскам, зато широко распахнутые, в перспективе замкнутые цепями гор. С другой стороны простирались вдали льдины Чаунской губы. Чуть-чуть, плоско и размыто, маячили домики биостационара. Был полдень, и тундра выглядела несколько блекло, неконтрастно даже в тех местах, где лежали снежные пластыри.

Нужно было спускаться, в три часа намечался отъезд, и я пошел вниз, останавливаясь лишь у плит, особо изощренно разукрашенных лишайниками. Фотографировал их в упор, пока не проступала в объективе вся застарелая пористость камня, каждая чешуйка лишайника... Камни достойно обрамляли и извивы русла Чауна, Пучевеема, проток и озер, затейливо сплетающихся и расплетающихся вдали. Дремуче-древнее, неподвижное — над живым током бытия, над сменой времен года в нем, над гулким простором арктической всевластности...

У одного кекура невольно притормозил. Он стремительно взметнулся наклонно вверх, как

постамент для космического памятника. Широкий в основании, четырехгранный, он дерзко буравил небо своим идеальным острием, силуэтно перечеркивал всю тундру внизу — словом, господствовал и царил здесь, даже среди этого столпотворения камней, среди их вселенского навала, оставшегося еще от ледниковых подвижек либо иных, менее продолжительных во времени, каменоломных катаклизмов. Он утвердился над этим хаосом и сам стал как воспоминание о первородном хаосе. Как воспоминание и напоминание о нем. Он стоял здесь многие тысячелетия, и такими суетными, сиюминутными казались игривые заплатки лишайников на его застарело-пористых сколах. Хотя и жизнь лишайников удивительна, они неприхотливы и устойчивы против земных бурь. Не считая, быть может, огня...

Ксилофонно что-то вызванивало неподалеку на террасе. То глубоко под камнями бежала вода, стремился откуда-то серебристый ручеек. Песнь его была незамысловата, но звонка, чему способствовали перепады камней и эхо в пустотах между ними.

Эта невидимо льющаяся вода так притягательна здесь, так хочется ее испить, прополоскать горло, такой представляется она целебной... во рту пересохло... Ан нет, добраться до нее, расшвырять тартарары остро искрошенных камней мне не под силу, вода погребена в их звонком лабиринте навечно.

И откуда она там взялась? Хотя мочажины встречаются почти на каждой террасе. Но вода в мочажине плохая. Боюсь, не стоило бы пить и ту, в поющем ручье, доберись я до него, потому что название горы Нейтлин в переводе — «Голова болит». Вода здесь в округе с мышьяковыми соединениями, ее пить не рекомендуют — оттого и

головы болят, если испить, оттого и название...

Снизу уже высматривают меня в бинокль, время на исходе. Пейзажи увлекли, работа несколькими камерами требовала сосредоточенности, немного поэтому замешкался при всем моем желании никого не подвести. Но ничего страшного, если не считать, что Обушенков слегка нервничает. Ему предстоит отвезти нас на биостационар, а потом возвратиться еще разок на свой участок. Так что человека можно понять.

И опять он великолепен, прямо-таки неподражаем на виражах на ревущем своем «коне». Его спорадически загоревшее, в красных пятнах, лицо пышет вдохновением и удалью. Ему все нипочем. Он молод, и к тому же скоро у него будет шрам на подбородке, который, безусловно, его украсит, придаст мужественности, этакой даже аскетичности его облику. Потому что «шрам на роже, шрам на роже для мужчин всего дороже!»

Жаль, что такая поездка на Пучевеем, в его окрестности, была всего лишь одна. Отчасти я и сам виноват: не настаивал, считал себя не вправе кого-то стеснять.

РАЗГОВОР С КОНТРИМАВИЧУСОМ

Записываю в блокнотик последние штришки быта, деятельности, биографий людей, с которыми свела судьба на две декады. Привычней стало общаться и разговаривать с Витаутасом Леоновичем, здесь первым по рангу и должности, что никоим образом не подчеркивалось. Между тем, как я уже отмечал со слов Вайн-Риба, все в этом поселке сделано по замыслу и идеям Контримавичуса. Архитектурным, техническим, каким

угодно... Понадобилась, скажем, в одном из лабораторных помещений температура плюс пять. А как ее создать? Опять же идея Витаутаса Леоновича: прокопать яму до мерзлоты, тут и копнуть всего на метр вглубь, положить на вечный лед батарею парового отопления, к ней два патрубка на входе и выходе, которых не разъедал бы соляр, вморозить всю эту конструкцию в лед и перегонять по ней соляр. Вверх — холод, вниз— тепло. А вечный лед все равно не растопишь. Вот и получилась постоянная плюс пять. Без чрезмерных мудрствований и затрат. Чем-то и вечная мерзлота может быть полезна. Даже очень многим, если вдуматься.

В последние дни он весь в заботах: доблагоустраивал игрушечный домик из прибуксированных некогда лодкой из Чаунской губы бревен. Домик — типа походного балка, в одну комнату с сенцами. Только прочней. В комнате камин для уюта. Мягкие самодельные диваны, широкие, в одно стекло, окна, в углу окованный медью, с медными гвоздями и угольниками, старомодный зеленый сундук (презент Марины Болеславовны). Витаутас Леонович будет жить здесь, пока в командировке, с семьей. Кроме того, расчет и на иностранцев, которые вот-вот нагрянут (ждут из Южной Америки, из Штатов, из Канады и Норвегии, а там уж кто приедет, а кто, возможно, и нет).

А в прошлом году проведал стационар лишь один чужеземец — энтомолог из Америки. Ловил здесь бабочек. По-русски ни слова, кроме «здравствуйте» и «спасибо». Неутомимо бегал с сачком по острову. Кира, смеясь, вспоминала, как он говорил: «Я поймал сегодня (и конец фразы по-русски) красивий бабушька».

В «кэбине» Контримавичуса я был, когда

справлялось новоселье. Кэбином, на английский манер, однажды назвал избенку походя и в шутку сам хозяин (возможно вспомнив схожего типа аляскинские охотничьи домики — кэбины). Зашел еще раз — теперь уже по делу, поговорить перед отъездом чуть обстоятельней.

В комнате было по-деревенски аккуратно прибрано: половички на полу, занавески на окнах, на подоконниках цветы в банках из-под консервов, тахта под домотканым покрывалом. На камине — враскорячку — стилизованный под пелекена гипс: голая, грудасто-животастая, с пухлыми ножками и ручками, вся из сплошных округлостей, с огромным ухом чукчанка. Здесь — не просто искусства ради, а как хранительница очага. На то и пелекен.

Я задал Контримавичусу несколько вопросов, прежде всего о назначении и целях такого вот биостационара именно в этом районе. (Почему именно здесь?) Но оказалось, что на базе лабораторий института на северо-востоке страны функционирует несколько подобных стационаров. Например, в окрестностях Колымгэсстроя есть стационар «Абориген». Почему «Абориген»? Да потому, что расположен он у подножия горы Абориген, высота которой где-то в пределах 2000—2300 метров. Горы на Чукотке вообще невысокие. В ясную погоду Абориген напоминает очертаниями вроде бы чукчу, эскимоса либо эвенка... словом, аборигенного жителя. Стационар — в некотором смысле как подарок институту. В его создании в этом краю был заинтересован прежде всего Колымгэсстрой. От этой стройки требуют мер по охране окружающей среды и соответствующей отчетности. Стационар — на базе лаборатории биоценологии — занимается

комплексным изучением экологических последствий столь грандиозного строительства для окружающей среды. То есть он обязан давать строительству информацию о всевозможных промышленных влияниях на среду, рекомендации на будущее, прогнозы, предупреждения и пр.

Нет, это не чистая наука, проценты с которой можно будет получить, в лучшем случае, в обозримом будущем, это сегодняшняя, не терпящая отлагательств помощь производству, попытка практического решения проблем, возникающих в ходе самой жизни. И Колымгэсстрой охотно дал средства на создание такого стационара.

Есть также стационар в большом селе Марково (на реке Анадырь). Там в основном работы в плане гидробиологии и ихтиологии. К этому коллективу в нынешнем году примкнул орнитолог Кречмар (с которым, кстати сказать, я много дней ел щи да кашу когда-то на острове Врангеля).

Здесь же стационар с преимущественной ориентацией на гельминтофауну, отчасти в силу ее относительной малоизученности в этих высотах. В основном изучение влияния физических факторов на паразитов в то время, когда они проводят часть жизни, как говорится, на воле (а не в переносчике либо окончательном хозяине). Вот как на них, паразитов, влияют температура, жара, холод, мерзлотность и т. д. То есть как им сама по себе Арктика, как они к ней приспосабливаются?

Я полюбопытствовал, существуют ли какие-либо особенности в изучении гельминтофауны, вообще низших форм жизни, в высоких широтах, в условиях Арктики — по сравнению, скажем, с югом?

Оказывается, в Арктике для ученого-гельминтолога свои преимущества. Все экосвязи, экосистемы в принципе довольно просты, сведены почти до наглядности модели. Мало видов, большая внутривидовая численность. Потом, жизнь проходит быстро, как в ускоренной киносъемке, три месяца — и конец биологического цикла. Наглядность и простота. По сравнению с югом, в конечном счете, это рентабельно для исследования, на юге ведь все эти процессы бесконечно протяженны, длительны, экосвязи запутаны.

Исследуется ли институтом проблема, ну, что ли, совместимости человека и природы, столь ранимой и трудно залечиваемой в условиях Севера? Собственно, решается ли вопрос, что человеку здесь конкретно позволено, что он может, а чего ему нельзя? Как на него на самого влияет Север?

Да, институт занимается и природой, влиянием на нее человека, и человеком как таковым в условиях Севера. То есть физиологически, популяционно-генетически и социологически. Скажем, как воздействует среда на аборигенов и на приезжих, еще здесь необжившихся, к ней не адаптированных.

После официальной части моего, скажем, визита поговорили вообще о том, о сем, но, впрочем, о чем бы ни шла речь, косвенно она задевала и предшествующие темы. Например, о трагических загадках Севера, о давлении его на психику человека, о нередкой психологической несовместимости людей, попадающих в исключительные условия зимовок или тяжелых зимних переходов. Даже как будто и не в такие уж исключительные...

За окном промелькнули дети Контримавичуса: Леон, кажется семиклассник, и младшенькая

Дайнуте. Леон день-деньской гоняет по Чауну на лодках, нет выше радости, если старшие возьмут с собой в качестве «шкипера»; вечно испачкан маслом — копается в моторах, постигает их сильные и слабые места... У Дайны интересы другие, здесь она ближе к родителям, любит животных, нянчится с крольчихой, у которой мастит и дни ее, казалось бы, сочтены. Дайна этому не хочет верить! Следит, чтобы крольчихе было тепло, кормит ее, заставляет отца делать больной инъекции пенициллина... В свободное от этой заботы время ее красная куртка мелькает далеко в блекло-бурой тундре Айопечана... Девочка проверяет прошлогодние гнезда: возвратились ли на старые места ее знакомые подорожники, овсянки, чечетки, разные кулички? Остренькое ее личико (и носик остренький) всегда полыхает румянцем стыдливого любопытства ко всему сущему, что ее окружает. Можно заранее и почти наверняка предсказать ее будущее: оно в области изучения и постижения природы.

Что ж, разговор состоялся, и уже не первый, вот даже взято что-то вроде интервью, не очень дотошного, — я с благодарностью покидаю крепенький «кэбин» Контримавичуса.

Да, пора улетать. Погода вполне прилична. Правда, чуть пасмурно, где-то над льдами губы туман... Да и по трассе скорее всего туман — вертолетов не слышно. В этот ли день, в следующий ли Марина Болеславовна неким гипнотическим пассом заставляет все же приземлиться довольно вместительную металлическую стрекозу, летящую в Валькумей. Это нам подходит.

Вечереет. Условно, конечно. Тишайший акварельный закат с отражением в жидкой шуге, в какой-то зашерхлости вод губы. Набор и сочетание красок неописуемых — по контрасту с

блюдцами озер, смежно-разноцветных, с тундрой и даже не тундрой вовсе, а тяжелой, узорчато-изощренной парчой. Расшиты эти узоры березкой тощей, песчанкой чукотской, полярной азалией, астрагалом колымским, калужницей арктической, гвоздикой ползучей, вейником незаметным, осокой приморской, камнеломкой супротивнолистной, а если какое-либо растеньице, ниточку узора и невпопад, «супротив» назвал, то заменой ему десятки других, о которых и не подозреваю... Я вообще не важно разбираюсь в стихии цветов и растений, да и поди разберись, ведь сколько их даже в такой, все-таки, скажем, не изобильной тундре.

И следы, следы, глубокие отпечатки гусениц, протекторов в мягком поверхностном слое почвы, разрушенные и жилые поселки, кострища, повсеместная память о деятельности человека. Там биостационар, туда дальше геологическая либо иная партия, затем перевальная база — попробуй, зверек, найди себе место. А ведь это один из живописнейших и густонаселенных всякой живностью уголков Чукотки — Чаун-тундра... Директор совхоза «Певек» Н. Ефимов, с которым бегло познакомил меня некогда Витаутас Леонович, в свой час толково и зло выступил в «Магаданской правде», ратуя за создание заказника в районе между рекой Чаун и Певеком. Берет разгон промышленность, браконьерство, вылов рыбы подчистую — совхозу это ох как не нравится. Но Ефимов — по словам Витаутаса Леоновича, «одна из светлых личностей» в этих краях — так и остался со статьей на руках и при своих, как говорится, интересах. И не потому, надо полагать, что местные власти совсем уж не обеспокоены состоянием арктической природы. Обеспокоены. Размышляют и над природоохранитель-

ными проблемами. Примером тому — создание уже после моего отъезда с Чаун-Чукотки заказника под Певеком. Но не там, где хотел Ефимов, а в какой-то мере и биостационар. Так ведь и Ефимов, если копнуть поглубже, не столь бескорыстно-прост при всей прогрессивности его взглядов на охрану природы. Ведь стремление создать заказник именно на землях совхоза опиралось и на определенный потребительски-прикладной расчет. Отвадить от богатых рыбой и дичью угодий «чужаков», но самим-то, оставаясь на территории заказника, пользоваться всеми его благами!

Однако прав ли он, не прав ли в иных частностях, необходимость защиты уникальных приустьевых земель Чауна от потравы, от поползновений разного рода дельцов — такая необходимость животрепещуща. Не побоимся высоких слов — она должна стучать в наше сердце.

ЛЮДИ И ОЛЕНИ АЙОНА

«ПРОСТО ТАК» И «НЕ ПРОСТО ТАК»

Как я уже говорил, с Владимиром Михайловичем Етыленом меня свела Поспехова. Он оказался молодым, улыбчивым, подвижным; представляясь, заметил, что его фамилия в переводе с чукотского значит «приезжий». Невольный намек на свою непоседливость...

Он должен был лететь в командировку в оленеводческий совхоз «Энмитагино». Я, в свою очередь, изо всех сил стремился туда же, на остров

Айон. И совместная поездка с Етыленом показалась продолжением той самой редкой удачи, что сопутствовала мне со дня появления в Певеке.

Вылететь должны были вот-вот. Ну, два-три дня в Певеке, как разрядка и отдых — это еще куда ни шло. Но прошло и три, и четыре, а мы все не улетали.

— Может, Етылен забыл про меня? — спросил Трофима Тынарахтыргина, когда тот наведался к Марине Болеславовне.

— Ну нет, —даже обиделся за него Трофим.— Етылен не забудет. Ну нет!

И все-таки вылетели лишь на двенадцатый день: в жизни как в жизни, раз — повезло, раз — не повезло. Дело в том, что Етылену было поручено встретить и сопровождать болгарского писателя Бориса Крумова в поездке по району. А Крумов, совершавший путешествие по Чукотке, пока сидел со своим спутником где-то еще на берегу Берингова пролива и досадовал, что теряет золотое время из-за непогоды. Я злился, тщетно ожидая его в Певеке. Я маялся, прикованный к громоздкой колымаге чужих хлопот и зависимостей.

Наконец-то Крумов улетел в Москву, и мы с Етыленом, пока не возникла еще какая-нибудь заминка, незаметно и тихо улизнули из Певека. Ведь мы даже не на Айон подались, плоский и почти постоянно укутанный туманом, нет! Мы взгромоздились со всеми нашими рюкзаками и авоськами на маленький АН и взяли курс на Бараниху.

Я недоумевал, это не входило в мои планы. Владимир Михайлович неторопливо и с подробностями растолковал мне, что задача та же — посетить оленеводческие бригады «Энмитагино», сама же центральная усадьба совхоза на самом

острове, а большинство бригад в так называемой лесной зоне на этом берегу, на материке. То есть нам предстоит встретиться с бригадами здесь, на Чаунском побережье, и потихоньку передвигаться из бригады в бригаду все ближе к проливу, за которым Айон. А там, мол, преодолеем пролив на вездеходе...

Мне показалось, что я ослышался, но уточнять не стал. Хотя уже имел представление, насколько узок этот пролив и неглубок. В летнее время оленьи стада вброд его переходят, только кустарник рогов над водой колышется.

Самое необходимое, значит, в нашем положении — долететь до Баранихи, находящейся где-то далеко к западу от Чаунской тундры. А потом видно будет... И не мне решать, пусть везут куда угодно, в конечном счете Чукотка всюду, везде там экспедиции, оленеводческие бригады, люди... И, рассудив так, уставился в иллюминатор «аннушки» на разноцветные озера, на «парчу» и агатовые разводы Чаунской тундры, прикидывая и сопоставляя, насколько они разноцветны естественно, от почвы, от торфа, от окраски подстилающих их пород, а насколько их «подцветил» уже человек.

Как бы разгадав эти мысли, Владимир Михайлович тоже наклонился к моему иллюминатору.

— Вон видите, какая река, какой у нее цвет? — спросил он. — Ржавчина, коричневая, глинистая муть. В ее верховьях моют металл. Теперь сравните с другой, по соседству. Чистая, прямо-таки синяя вода! А ведь когда-то та коричневая река была богата рыбой, сам сюда на рыбалку приезжал. Теперь в ней, считайте, ничего живого.

Внизу змеилась лента глинистого раствора, кофейной жижи.

Я не спросил: а как же очистные сооружения? Не задал я этого вопроса, когда побывал в верховьях этой реки. Не спрашивал потому, что читал стандартные ответы руководителей горнорудных предприятий в местной печати, где они пространно толковали именно об очистных сооружениях, дренажных канавах, отводах: не сделали, но сделаем; сделали, но в расчетах коечего не учли; не могли сделать — не хватило средств; либо, в лучшем случае, — очистные сооружения у нас есть, природу напрасно не губим.

Но даже когда они есть, когда горняки заботятся о чистоте окружающих вод, — это такой мизер, что наглядной пользы не дает.

Внизу огромные пятна копоти. Сначала я принял их за тени от облаков, медленно влачащиеся за своими хозяевами, словно на буксире. День солнечный, и отражение облака на земле как густая копоть. Но нет, пятна, плоско распростертые внизу, вплотную и неподвижно примыкают к берегу губы. Оказывается, следы прошлогоднего пожара в тундре: то ли некая экспедиция виною, то ли пастухи подожгли... Страшно подумать, что даже эта заболоченная, сырая, в сущности, тундра способна так гореть. Ведь никакого леса и близко нет. А я удивлялся — зачем тут нужны пожарные вертолеты? Нужны, оказывается. Горит и тундра. А потом ее покров восстанавливается десятилетиями. Сейчас выжженное пятно — пустыня.

Чья-то халатность, чье-то равнодушие... Вспомнил Виталика Поспехова — не разрешил жечь костер у избушки охотников Лесковских. Всем бы такую совестливость и чувство личной ответственности перед своими же товарищами, не говоря уже — перед природой. Ее тоже нужно

совеститься, может быть, втройне: она безмолвна, беззащитна и сиюминутных санкций против тебя не предпримет. Но она отомстит: если не сегодня, то завтра.

Да, слишком приметны внизу следы человека, их уже и не вытравить, пожалуй, не заровнять. Особенно это бросается в глаза здесь, где проходит автозимник Певек — Бараниха. Листаю свой блокнот, что-то, между прочим, я уже выписывал из местной газеты «Полярная звезда», из статьи инспектора рыбоохраны Кривоносова «Береги долину Чауна».

«Следуя по автозимнику Певек — Бараниха, подъехали к будке дорожников, стоящей в устье реки Пучевеем. От будки веером расходятся тракторные следы и наезженные дороги. Взяли влево и по Пучевеему поднялись выше, к охотничьей избушке совхоза «Певек».

Охотник-промысловик И. Варсуляк рассказал о наболевшем. Трудный в этом сезоне промысел песца. А тут еще люди — на них неподдельная обида. И места здесь рыбные, и песец есть в тундре. Но тракторы и вездеходы бороздят гусеницами протоки рек и тундру, оставляя местами следы нефтепродуктов, иногда подходя вплотную к капканам. В одном месте кто-то из трактористов рядом с капканами охотника поставил свои.

С рассветом вместе с Варсуляком мы объехали участок и убедились в правдивости его слов. Да, трудно Ивану Семеновичу бороться с теми, кто мешает вести промысел, кто без надобности вторгается в природу и губит ее.

Мы собирались уезжать, но тут увидели трактор дорожников, удалившийся от будки километров на пять и шедший вверх по реке. Остановили его. На вопрос, куда он направляется по реке, тракторист ответил: «Просто так».

Не буду судить о том, достаточно ли техники у дорожников. Одно несомненно: техника Чаунского автодорожного управления на охотничьих участках и на реках вдали от автозимника — лишняя».

Не о том ли писал и директор совхоза «Певек» Н. Ефимов в «Магаданской правде»? Он с гордостью за Чаун-Чукотку (мило мне это название отчасти аллитерацией, шипящим созвучием, но больше некоей автономностью смысла: мы не просто Чукотка, мы Чукотка в Чукотке, мы — Чаун-Чукотка!), за свою землю, пишет об уникальной природе долины реки Чаун, которая всегда поражала полнокровием, кипучестью жизни. Еще не так давно, с десяток лет назад, здесь было обилие гусей, уток, разнообразных куличков, куропаток, гагар. Ивняк и ольшаник создавали чащобу местами до трех метров высоты, продраться в которой, проложить себе путь могли разве только бесчисленные ручьи, протоки, речки. Но пришел человек и сюда. Появилась трасса. Она пролегла как раз через угодья совхоза «Певек». Пройдет вездеход по кустарнику всего раз — и уже образуется коридор: незащищенность для зверья, труба для ветра... «От села Рыткучи до поселка Чаанай вся тундра в кружевных узорах следов. Шрамы от «кальмаров», «Уралов», тракторов, — с горечью пишет Ефимов. — Официальная трасса теряется в этом лабиринте, ее не сразу и обнаружишь. Разве что по брошенным на снегу прицепам».

И эти прицепы иногда сутками ждут хозяев, особенно весной. А объяснение сего факта до примитива простое: прицеп с грузом (которого, может быть, где-то ждут не дождутся) оставлен на произвол судьбы, шофер же зарулил на рыбалку.

«Считают ли руководители автобазы потерянное на завозе грузов время? — справедливо интересуется Ефимов. — Не знаю. Но нам каждый раз приходится подсчитывать выведенные из оборота оленьи пастбища, загрязненные речки».

Причем автодорожники выбирают для своих стоянок и промежуточных баз места поживописнее и, конечно, на берегах речек. У жилых балков между тем они беззаботно и бесконтрольно нагромождают египетские пирамиды мусора, пищевых отходов, емкостей из-под топлива и масла — все это, конечно, талыми водами сносится в реки и озера. Лишь бы с удобствами переночевать, а там хоть трава не расти... Трава и не растет. И не скоро еще вырастет. Если вырастет вообще на захламленной и обильно политой горюче-смазочными веществами почве.

В этих местах протекает речка Эльхкаквун, до недавнего времени богатая рыбой. Сейчас в ней ряпушка или голец встречаются реже, чем белый медведь на ее берегу, за которого, кстати сказать, сильно штрафуют, браконьеры стали его стороной обходить — себе дороже. Так вот, в Эльхкаквуне наглухо перекрыли сетками устье, через которое теперь и малек не проскочит. Самая беда в августе, когда на нерест идут промысловые: ряпушка, сиг, голец...

Немало еще всякого такого важного высказал в свое время о защите и бережном отношении к каждому стебельку директор оленеводческого совхоза «Певек» Ефимов.

Словом, газеты не молчат, они пишут, обличают. Но реакция тех, от кого зависит искоренение недостатков, не всегда оперативна, действенна, а то и нет ее вовсе.

«Аннушка» давно уже оторвалась от берегов

губы, втянулась в долинный коридор, стало ее поматывать, качать в воздушных потоках горной цепи. Чуть дальше начала вырисовываться белыми домами Бараниха.

Здесь нам предстоит либо дождаться вездехода совхоза «Энмитагино», которому идти сюда часов шесть, а то и больше, да столько же еще отсюда, либо — что более вероятно по сегодняшней погоде — использовать для этой цели попутный вертолет; без лишней траты времени он сможет высадить нас на побережье губы, у охотничьей избушки на реке Теюкуль. Как раз там и вездеход дежурит, ожидая по радио указаний: ехать навстречу или нет.

Надеемся на вертолет, ласково именуемый здесь «вертушкой». Вертолеты сегодня летают часто, но — вот незадача! — оказывается, далеко не каждый пилот имеет право взять пассажиров: летают эти пилоты «без права посадки на точку», то есть садятся обычно не там, где есть возможность, пусть это будет и некая условная «точка», а только в более-менее оборудованных аэропортах и населенных пунктах (как говорится, «на асфальт»). И боюсь, что таких большинство.

В ожидании нужного вертолета обедаем в столовой Баранихи. Еще в аэропорту нас встретил местный парторг.

— Не хотите ли, Владимир Михайлович, на нашу теплицу взглянуть? — спросил он.

— Да надо, — сказал Етылен, — вот и Леониду Михайловичу, наверное, интересно будет.

Что ж, всегда удивительно видеть на Севере огурцы либо помидоры местного урожая. Не могу к этому привыкнуть. Особенно если не на каком-нибудь подземном вулканическом паре все

эти южные дива произрастают. Вот Анавгай на Камчатке, селеньице в Срединном хребте, ничем таким не приметное (кроме того разве, что весь этот Эссо-Анавгайский край настолько приятен для глаз, что его называют не иначе как камчатской Швейцарией)... Эссо — действительно нарядный поселок, и вокруг такие виды, что голова кружится, Анавгай же — так себе... Зато речка там горячая и прямо на ее берегу — теплицы с огурцами и помидорами. И за счет чего? За счет дармового подогрева подземными водами. Не то в Арктике. Никаких тебе горячих источников. Пар от котельной. То есть, его надо производить. Затраты немалые. Да и теплица в Баранихе пока одна: помимо овощей, что, конечно, самое важное, в ней и цветы, между прочим! Крученые паничи, вьюнки, львиный зев, анютины глазки...

— Конечно, выход овощей незначительный, — согласился сопровождающий. — Но хотя бы детсад снабжаем огурчиками четко.

Неподалеку от теплицы старательно пыхтел бульдозер, ровняя площадку под строительство еще одной теплицы... лишь бы только пара хватило на подогрев!

Етылен заметил не без гордости:

— А вот на Валькумее под теплицы отведен целый гектар. Валькумейцы — молодцы. Они уже тонн восемнадцать — двадцать за сезон снимают огурцов да еще лука тонны четыре-пять. Кроме того, детей Певека и себя валькумейцы даже молоком обеспечивают полностью. В Певеке-то с молоком перебои, — у кого есть машина, тому, конечно, и в Валькумей недолго смотаться с бидончиком, так и делают. — Помолчал, припоминая, за что бы еще валькумейцам воздать должное. — Между прочим, до тысяча девятьсот во-

семьдесят пятого года они намерены еще на пяти гектарах возвести теплицы. А вы говорите — Арктика, климат, трудности... Любовь к своему делу, веру в свои возможности надо иметь. Ведь и людей приходится воспитывать, кадры овощеводов. Думаете, просто? Певекская ТЭЦ — пар у нее свой, так сказать, — тоже строит теплицу. Но дело капризное, пока не все у них получается. Да и овощевод овощеводу рознь. Вот и говорю, что в Валькумее в тепличном хозяйстве люди с умом, с пониманием важности задачи к проблеме подходят. Да и с душой, с любовью — какой без этого огурец или там помидор?..

Вспомнил он городскую ТЭЦ, не мог не сказать и о том — опять же не без гордости, — что район входит как потребитель энергии в кольцо Билибино — Певек — Зеленый мыс. Однако на дядю надейся, а сам не оплошай...

Пока шла эта беседа, окончательно отвлекшая меня от недавних тягостных мыслей в «аннушке» на тему «просто так» и «не просто так», мы снова оказались в аэропорту. И вовремя: вскоре пошел на посадку вертолет, пилот которого, по-видимому, имел право садиться где угодно, хоть черту на рога. Через двадцать минут высаживаемся на указанной точке, в нескольких шагах от спокойной, чуть испещренной льдинами глади Чаунской губы.

КАШКАРОВ И МАЛИНОЧКА

Встретили нас главный зоотехник совхоза «Энмитагино» Александр Федорович Задунаевский — рослый, длиннолицый, лет сорока (с де-

ревянной трубочкой во рту), и водитель вездехода Саша Осетров. Чуть позже подошел и хозяин охотничьей избушки Кашкаров Иван Иванович. Знаменитый на всю Чукотку зверолов. Но ничего такого ни куперовского, ни суперменского и в помине. То есть ни косой сажени в плечах, ни окладистой бороды, ни хитрованистой такой повадки, ни угрюмого, себе на уме, взгляда исподлобья. Щупленький, тихий такой...

Здесь, на берегу батюшки Ледовитого, естественно, прохладней, чем в Баранихе. И вообще, лето не из самых жарких. Поежившись, безадресно (чтобы не сказать — глупо) изрек для завязки беседы: мол, какое холодное лето.

— Хорошее лето, — ответил, усмехнувшись, Задунаевский.

И впрямь, что для горняка на открытом полигоне плохо — холод, дождь, слякоть, — то для оленевода добро: меньше будет комаров, ритмичней выпас оленей, соответственно привес...

Задунаевский, видно по всему, колоритная фигура. Сейчас он замещает директора совхоза, который в отпуске. Охотничьи угодья на этом берегу, вплоть до реки, на которой живет Кашкаров, тоже принадлежит совхозу. Потому Задунаевский здесь как дома.

Сейчас у охотника еще одна забота — рыбу ловить. Раньше он ловил ее только для себя, на прокорм. Для привады... А теперь вот 15 центнеров плана нужно дать. План в совхозе составляли сами, учитывали возможности, ход рыбы, необходимость в ней как в продукте питания... В общем, это как бы разрешение лова рыбы охотникам, а то получалось, что они вроде браконьерствуют. Теперь лови, не отнекивайся: план есть план.

Вот и ловят ночь напролет, бродя по мелко-

водью далеко за устьем, ставя сети у самых льдин, осевших рыхлыми основаниями на донный песок. Потом переборка сетей: голец, ряпушка, сиг, изредка чир... Потом самое, может, нудное — выпутывание из сетей разного придонного мусора, водорослей, сучковатых веточек. Никто не спит. Кроме меня, все завзятые рыболовы: и Задунаевский, и Осетров, и Кашкаров, и Владимир Михайлович...

— Ну вот, шутя, шутя, а полплана совхозного, глядишь, уже взяли, — удовлетворенно сказал через сутки Задунаевский.

На столе постоянно жареная рыба. Ряпушкой хозяйка (а есть и хозяйка в этом жилище) закормила.

Я присматриваюсь к Кашкарову отнюдь не в расчете понять его охотничьи секреты: их никто не понимает. Говорят так: мужик работает, умеет «держать» на своем участке песца в любое время года. Чуть схватит губу первым молодым ледком, и у охотника в укромных уголках, за снежными бугорками там-сям уже готова для песцов привада. Мало-помалу расширяет район охоты, опять-таки пользуясь привадами, приучая к себе зверя. Песец, смотришь, и тянется именно в угодья Кашкарова, «парится» здесь, дает богатый приплод, отчасти взращенный подкормкой. А эту подкормку надо разносить сотнями килограммов. Принеси ее в какой-нибудь отдаленный край участка да еще и поломай голову, как уберечь от медведей, разгуливающих здесь почем зря и без всякой опаски. Но подкормка — одно (это забота о будущем песцового поголовья, о его росте), а привада — другое. Нужно, чтобы она безотказно сработала, чтобы песец не прошел равнодушно мимо ловушки. Надо знать, когда на что песец «клюет». То ли это, скажем,

мелко растертая со снегом рыба, пахучая от анисовых либо валериановых капель, то ли куски нерпичьей тушки — тоже ведь деликатес, да попробуй еще эту нерпу добудь. Промысел нерпы — часть плана. Выслеживаешь нерпу, «нерпуешь», бывает, и сутками. Словом, охотник вечно в движении и поиске, в заботах.

А сам невзрачный, молчаливый, взгляд — нелюбопытный. Ну что в нем такого, в этом Кашкарове? Как он ухитрился обойти всех, ведь и не из местных, привычных к Северу с пеленок, не абориген? Не знаю. Да здесь и не может быть однозначного ответа, особенно когда стремишься уяснить: почему же все-таки у него самый высокий на Чукотке процент промысла белых песцов? Ведь вся его нехитрая «технология», о которой говорилось уже, превосходно знакома любому охотнику. И сколько угодно охотников не менее Кашкарова трудолюбивых и добросовестных. Да и в охотники он пришел не так давно. Добывал олово, что-то там не задело его душу, не нашло отклика, что-то не то, не то...

В поселке Шмидта заглянул в районохототдел, попросился в охотники. Пожалуйста! В 1970 году послали его на остров Врангеля (оказывается, я был с ним на острове в одно время, но не встретились, не пришлось, там много промысловых участков и они разбросаны на большой территории). Потом перевелся на остров Айон, в совхоз «Энмитагино». И вот уже здесь несколько сезонов. Все один да один. Охота охотой, но... один! Хандрить начал. Одиночество — категория сложная, психологическая, нечто такое давит, разные мысли, мечтания уместные и неуместные. Будь тут какая угодно выдержка, а не сладко. Кашкаров — живой человек! — не стал исключением. Жизнь не по линеечке человеку отчеркнута.

Постоянно проходишь через всякие беды и искусы.

С женой бы веселее, но ее еще поискать нужно, да такую, чтобы согласилась на подобный образ жизни, на глухое охотничье зимовье, на монотонность быта, на тяжелый физический — и опять же однообразный — труд. Найди такую вот!

Нашел. Нынешней весной привез свою Зою откуда-то из-под Куйбышева, наивно удивленную миром, постоянно к чему-то как бы прислушивающуюся. К себе? Может, и к себе... Не в пример мужу любопытная. Обо всем расспрашивает, даже о вещах, назначение и смысл которых, казалось бы, должна знать. Комары пока еще ей не досаждают. А то и не спросила бы, увидев у Етылена накомарник, что за сачок такой.

— Как вам здесь? — не удержался я от традиционного вопроса. — Нравится?

И почему-то заранее уже знал: нет, не должно ей здесь нравиться, но преодолеть себя она, наверное, способна. Да и не одна ведь. Рядом муж...

Помолчала (какого же ответа от нее ждут?), смутилась, полууклончиво ответила с усмешкой:

— Не очень-то...

Весь день разделывала, пластала рыбу. Мечтала вслух о том, чтобы поехать на речку Кремянку — там есть телевизор.

До Кремянки километров шестнадцать, можно пройти берегом. Немного не доходя — гостиница перевалбазы автозимника Певек — Бараниха. Сейчас, понятно, он бездействует. Живут там лишь муж и жена — хранители гостиницы. Сезона пока нет. А зимой, бывает, шоферы и дня по три-четыре «пургуют». К их услугам самодельный биллиард с чугунной тяжести шарами, навал

потрепанных книжек... И, конечно, телевизор — отрада и отдушина в таких местах, способ убить время. Но что ни говорите, как ни иронизируйте, все же занятие и для ума, и для души... Выход в широкий мир, к злободневному, к людям, доступ к лихорадочному пульсу планеты. И ты вроде как уже не один на речке Кремянке или Теюкуль, вроде как бы и на тебе уже замыкаются страсти этого мира, его раздумья, и беспокойство, и заботы...

У Кашкарова в подворье установлена высочайшая антенна — как только ветер ее не повалит. Есть, стало быть, и рация. Есть транзистор, конечно. Теперь мечта о телевизоре «Юность» (в основном мечта жены). Телевизор нужен такой, чтобы от аккумулятора работал. Здесь нет гор, через губу до Певека хоть шаром по льду покати, изображение на экране четкое, без помех. Словом, остановка за телевизором, и он в этом жилище, безусловно, появится уже в ближайшие месяцы.

Глядя на ночь, едем дальше. Ночь, конечно, будет бессонная. Можно и на рассвете выехать, но Задунаевский спешит: предстоит посетить несколько оленеводческих бригад. Правда, самую «лесную» из них мы оставили далеко позади в горном мелколесье за Баранихой, туда недосуг забираться. Другие бригады — если смотреть с Айона — тоже вроде как в лесной зоне, но таковой ее можно назвать лишь условно.

Курс наш на северо-северо-запад, строго по берегу губы, кое-где пересекая мысы по тундре, до мыса Наглейного, откуда свернем уже круто в тундру в поисках нужных бригад. И все это время будем зигзагообразно, я бы сказал, галсами приближаться к острову Айон.

Дорога до предела тряская, ее, в сущности,

нет. Сидим с Етыленом напротив друг друга на каких-то тюках и ящиках, что-то давит в бок, затылок, слава богу, упирается в мешок с хлебом, колымага наша вздергивается и опадает на кочках тундры, на рытвинах и ухабах заиленного берега, даже в полудреме не забудешься. Етылен куда младше меня да и привычней к такому транспорту, — наверное, все-таки дремлет...

Где-то среди ночи (белой, разумеется, даже солнечной) пьем чай у охотника Красильникова и — дальше, дальше! Утром в полном смысле врываемся к Ивану Малиночке. Вот к нему, между прочим, у меня особый интерес. Он из Краснодарского края, может быть, даже из Краснодара. Значит, земляк. Мало того: мне небезынтересна как личность его жена, которая сейчас в селе Айон (на острове) нянчит новорожденное дите. Впервые я узнал о ее существовании еще в Певеке из интервью, опубликованном в «Полярной звезде». Брали интервью по телефону, интересовались у нее подробностями биографии. Дело в том, что Елена Вячеславовна Малиночка, выпускница одного из краснодарских вузов, не имея особого пристрастия к шахматам, тем не менее любит решать шахматные задачи. Впервые она приняла участие в конкурсе на решение таких задач, объявленном «Комсомольской правдой», и заняла третье место. Потом, уже будучи на Айоне и работая дизелистом на электростанции, участвовала в таком же конкурсе, организованном журналом «Смена». И завоевала первое место! Странно ведь — как-то ни с того ни с сего...

И вот теперь дорога, гораздая на всякие неожиданности, свела меня для начала с мужем Елены Вячеславовны, охотником Малиночкой.

Он стоит около дома в трусах и майке, в ка-

ких-то резиновых чунях на босу ногу, а вокруг мельтешит, заливается лаем свора ездовых собак. Стоит и курит.

Когда пришла пора и мне обменяться рукопожатием, я с легким недоверием и как бы со всех сторон оглядел его — приземистого, на первый взгляд, даже щуплого, лобастого, с ранними высокими залысинами, неожиданно бородатого — и не смог удержаться от восклицания:

— А говорят — кузнец?!

Реакция на уколы такого рода у него оказалась мгновенной:

— Давайте поборемся?

— Э, нет, — тотчас уступил я, — не в таком мы уже возрасте, чтобы бороться с молодежью.

Судьба у парня вроде бы и обычная для многих северян, то есть приезжающих на Север и обживающих его, но и не такая уж примелькавшаяся, что ли. «Да, родом из станицы Павловской на Кубани. Да, был и кузнецом, а что?..» Потом женился, переехал в город к жене. Работали с ней на одном заводе, она к тому времени вуз успела закончить, в конструкторском бюро, значит, ей место, ну а Иван — у станка. А жили у ее родных. Собственно, своего жилья у них нет, в том-то и закавыка. Это и привело на Север.

Это с его слов. Схематично. Познакомившись потом с Еленой Вячеславовной, я узнал, что Малиночке и прежде были знакомы эти широты. Он служил где-то на Севере. Здесь и к охоте пристрастился — на куропаток, на иную дичь. Возвращение на Север было потому неотвратимо. Он не раз заговаривал об этом, охотой чуть ли не бредил, так что ломка привычно кубанского жизненного уклада была не случайной, не каприз ее продиктовал. Да и бытие довольно основательно

подталкивало сознание: надо бы и подзаработать, ну, на кооператив, на собственный дом, там уж как получится-сложится.

Увидев у меня на пальце перстень с командорской пейзажной яшмой, она спросила вдруг:

— Кольцо самодельное? — И пояснила с легкой грустью: — Вообще-то, Ваня не без увлечений: мечтал о ковке серебра, о скани, о работе с ювелирными изделиями... Но вот охота, тяга к жизни на природе все пересилила.

А тогда, при первой встрече с Малиночкой, я, естественно, рассмотрел его неотчетливо. Не мог не увидеть лишь, что в труде он неистов. Вовсю затеялся с ремонтом домика (в отличие от кашкаровского это был уже дом как дом, а не обитая толем хибара), пристраивал разные службы сбоку... дизельную, кладовую... ледник предстояло расширить и укрепить.

К зиме решил забрать сюда жену с детьми (их-то двое). Почему нет? Работы по хозяйству хватит. Более того, одному здесь не управиться. И охота все-таки, и собаки, и себя ведь нужно как-то обихаживать. Нет, одному нельзя. Да и незачем, когда жена, семья все-таки вот они, не за тридевять земель, не в Краснодаре, а, в сущности, рядом. Конечно, здесь не то, что в селе. Но можно и здесь, можно... Вот медведи, правда, наглые, нет на них укорота. Белых не видел, но и с бурыми не заскучаешь. Дуром иногда прут. Еще до того как здесь поселился Малиночка, пришел однажды этот незваный гость... любопытствовал. Зашел в дверь, а вышел в окно, вдребезги разнеся его. Так ему, наверное, было сподручней. Да и совсем на днях — вдруг истошный собачий лай. Малиночка вот как сейчас — не из пижонства, нет! — вышел в одних плавках и с сигаретой в зубах, даже без ружья.

Ну, а медведь вовсю у ледника шурует, ударил ему по ноздрям запах съестного. Собаки кубарем под ноги хозяину, все до единой, дрожат, боятся... Но и медведь струхнул, не стал «права качать», ушел восвояси. Малиночка оделся, взыграло в нем все-таки это профессиональное, подхватил ружье — и за ним следом. Малиночка сел — медведь сел. Посидят, отдохнут — и опять друг за другом. Но ближе метров трехсот медведь все же к себе не подпустил, ему такие игры ничего хорошего не сулили... Полюбовно и разошлись.

Тем временем готов и завтрак: консервы и чай с галетами.

— Я о вашей жене читал в районной газете, — не преминул сообщить хозяину приятное.— Какая, мол, талантливая шахматистка...

Он снял с полки «Магаданскую правду».

— Здесь тоже о ней информация. Случайно наткнулся. Видите — «Лауреат с острова Айон»? Только фамилию решили подправить — Милочкина.

— Больно уж несолидно показалось, если Малиночка, — высказал я предположение. — Хотя по отношению к женщине почему же? Вот по отношению к кузнецу — это и впрямь как-то эфемерно...

Охотник пожал плечами, подыграл в том же ключе:

— Боюсь, что по отношению к медведю как раз ничего, он малину обожает.

Об этом я как-то не подумал. Но развивать тему не стал еще и потому, что хозяин за словом в карман не лез. Поискал глазами привычное — книги, журналы... Журналов было много — по технике и охоте. И два толстых скучных романа. Больше ничего. Я так понял, что беллетристикой,

особенно сейчас, когда и ремонт, и нерпование, заниматься некогда.

К сожалению, мое знакомство с Малиночкой продолжалось час или, быть может, полтора. Маловато, конечно. А характер — неодномерный. И такое несоответствие внешности внутреннему содержанию. Впрочем, чем-то похожим меня удивил и Кашкаров...

Не думаю, что Малиночка станет охотником вровень с Кашкаровым. Да и просто не имею повода об этом судить. Но что охота его страсть и что он честолюбив, не приходится сомневаться. Уже сейчас как охотник он в совхозе на хорошем счету.

Тем временем переговоры по рации с так называемой Шестой-Седьмой объединенной бригадой закончились, нам указаны как будто верные ориентиры (насколько они могут быть верными в тундре) — и мы покинули хозяйство Малиночки.

«ПАМЯТНИКИ НАДО СТАВИТЬ ЭТИМ ЛЮДЯМ!»

В условленном месте бригаду не нашли. А ехали сюда долго, несколько часов. Солнце катилось по краю горизонта, норовя свалиться в Ледовитый океан. Левей проступали сопки — синие и белесые, неплотно прихлопнул их туман. Холодало. Унимались потихоньку комары, агрессивно отзудев свое положенное. Пора бы и перекусить без помех.

Но повернули назад, утюжа кочки и распадки в надежде пересечь след многотысячного оленьего стада и таким образом определиться. Была

уже почти ночь. Наконец выехали на не очень старую, хорошо заметную вездеходную колею — зыбкая почва все же держит след тяжелой техники. Это человечий в ней почти не пропечатывается, словно по пуховой перине идешь, почва пружинит, след заплывает распрямляющимися мхами, прутиками шикши, карликовой ольхи...

Может, часы не тянулись бы так томительно, будь возможность обзора, но в кузове темно, везут как слепого. И поспать — не уснешь, неприкаянно мотаешься в такт вздергиваниям вездехода.

Все же нашли мы эту Шестую-Седьмую! Небо заволокло, сумерки, стылость — и жалкий костерок из сырых прутиков карликовой березки. На таганке в чайнике, закопченном, как душа сатаны, сиротливо булькал кипяток... Скорее бы согреться! С олениной хуже — мы как раз поспели к «шапочному разбору», и досталось всего по кусочку холодного мяса. Невероятно вкусным оно было! Кто-то из пастухов протянул мне полусырую, шероховатую, обожженную на костре и пахнущую дымом кожицу оленьих пантов. Я съел с некоторой даже брезгливостью, скорее потому, что хотелось есть.

— Сильным будете, — сказал Етылен.

Позволил себе усомниться. Вот от чая действительно сила, а его можно было пить до отвала. Помню, то ли еще в Певеке, то ли в Баранихе я неосторожно намекнул Етылену, что люблю чай, свежий и крепкий. Он засмеялся:

— Что-что, а чай вам будет в избытке. Боюсь, как бы даже не надоел!

Пророчество, похоже, сбывалось. Впрочем, чай-то был, не было у оленеводов сахара. Щедро поделились своим... Так что, можно сказать, ычвыраургин — все хорошо. Тем более что

наконец-то было решено заночевать. Палатки у оленеводов просторные, спальный мешок у меня свой. В нашей палатке я сам-третий, еще два чукотских паренька-подпаска, по-видимому школьники на каникулах... Предвкушаю наслаждение чистым, тихим сном, без громыхающего и рыкающего аккомпанемента вездеходного двигателя. Заглянул еще Саша Осетров, сказал одному из моих соседей:

— Я тебе магнитофон привез, ты просил?

Какой мгновенной радостью осветилось лицо подростка! Сразу же принялся что-то там крутить в нем и перекручивать, как в замысловатой, не желающей открывать своего секрета игрушке. Музыки я так и не дождался, уснул, да и была ли она?

Утро выдалось пасмурное, с явным предрасположением к дождю (если не к снегу; Задунаевский сулит снег: в двадцатых числах июля, мол, снег обязательно будет, чуть ли не традиция, а вот они уже и двадцатые...).

Сопок не видно, стыло, слегка моросит, и я злюсь: рассчитывал поснимать олешек на цветную пленку со всем чукотско-тундровым антуражем, с грядой синих сопок вдали... А вчера так умильно солнце светило!

Приезд секретаря райкома в бригаду, разумеется, событие не рядовое. Расскажет новости, поставит задачи, прояснит перспективы. Надо еще уточнить, что и бригадир Шестой-Седьмой Петр Михайлович Кымын — член бюро райкома, человек уважаемый и знающий, в армии послужил, страну повидал.

В Певеке мне рассказали о некоем бригадире-чукче, очень дельно выступавшем на партийном активе. Нелицеприятно говорил о вреде показухи, приписок, о «галочках» для отчетности. О том, в

каких еще трудных условиях живут оленеводы в бригадах. О том, что бригада называется комсомольско-молодежной, а в ней всего два паренька, остальным же за 60 лет. И все в таком духе. Уж не Кымын ли то был?

Молодой чукча, получив среднее образование, привыкнув к удобствам городской жизни, многолюдству и коммуникабельности, имея возможность выбора, неохотно идет в оленеводы. Ибо жизнь оленевода — сплошные скитания, если не в голоде, — еды хватает, заработки высокие, — то в холоде, слякоти, неуюте, незащищенности перед лицом стихий.

Вот проблема, которая, хотя и бывает иногда отражена в очерках, чаще всего газетных, почти не коснулась беллетристики. Литература о чукчах, коряках, эвенах замешена на обычном в прошлом кочевом или береговом образе жизни этих народностей и связанных с ним ритуалах, обрядности, экзотике, этнографических отличительных особенностях. Чукчи, коряки, эвены как типажи в таких книгах, безусловно, не лишены характера и колорита, движения и роста в пределах романного времени, то есть вполне художественно убедительно поддаются перековке и воспитанию, освобождаются от власти предрассудков, впитывают в себя новое — но остаются по роду занятий теми же оленеводами и зверобоями. Между тем явление это ныне не так уж характерно. А характерно, что, вкусив от благ нового образа жизни, утвердившегося в разбуженной промышленностью тундре, молодой чукча не спешит заменить в тундре своего отца и деда. И тем более непривычно и чуждо оленеводство русскому юноше.

Острая нехватка пастухов в тундре — вот проблема!

Не потому ли Задунаевский, который по опыту и по должности особенно болезненно на нее реагирует, упрекает бригадира и здесь, и позже в Пятой-Восьмой бригаде, что не заказали своевременно сахара. Его в бригадах съедают всегда в первую очередь, частые чаевничанья на холоде этому способствуют.

— У меня тысяча рублей, везу из Баранихи,— огорченно выговаривал бригадиру Задунаевский, — там же, в Баранихе, и сахара мог бы купить, кабы знал. Могли бы и сообщить. Рация есть.

— Старикам проще обходиться, — вторил ему Етылен. — А молодым только дай. Кажется, мелочи, но ведь из таких вот мелочей во многом и жизнь складывается. А потом жалуемся, что молодежь не идет в оленеводы. По многим причинам не идет. И не последняя из них — плохая организация кочевого быта. — Повернулся к главному зоотехнику: — Учеников, проводящих каникулы в стадах, вы как-либо поощряете? Ну, предположим, премии, именные подарки?

— Да, конечно, но как-то так, без шума...

— Вот. Без шума. Вроде бы подпольно. Вроде бы как что-нибудь не по закону совершаете. А почему не в школе, не в интернате, при всех, чтобы гордость юноша испытал за принесенную обществу пользу, за помощь в трудное время летнего выпаса? Ту же премию вручить, но при всех? Чтобы торжественно. Да еще фотографии в школе вывесить на самом видном месте.

Попутно Етылен обстоятельно рассказал об успехах района вообще, а Задунаевский как бы оттенил его отчет информацией о достижениях и планах совхоза «Энмитагино». Как в центральной усадьбе дела идут (то-то и то-то намечено в

этом году построить, детсадик — расширить, охотники вот порадовали, Кашкаров впереди, следом Тынарахтыргин, жаль, что заболел, в больнице теперь, потом Малиночка и Красильников, добыли по столько-то нерп, даже Расторгуев на севере острова, охотник вроде ничем не примечательный, добыл более тридцати нерп).

Отчитался и Кымын. Сказал, что сейчас, конечно, можно и одним вездеходом обойтись. А вот когда пойдут грибы да волки поактивней станут, тогда и вездеход лишний понадобится. Так же как и оружие.

— Какое? — попросил уточнить Етылен.

— Нарезное, конечно.

Задунаевский покивал согласно головой:

— С нарезным плохо. Положены два карабина на бригаду. Они в бригаде есть. Знаю, знаю, что старые и толку от них чуть. А карабины нужны не только для охраны самого стада от волков, но и для пастухов, которые, бывает, идут к стаду несколько километров, чтобы подменить товарищей. — Пососал трубочку; оказывается, давно бросил курить, но вот от привычки сосать трубку освободиться не может; далее он говорил в основном для меня: — Волки... Волки сейчас — весьма ощутимая опасность для стад. У нас к волкам свои претензии. Между прочим, охотоуправлением выделены средства для использования против волков вертолетов. Да, да, не совхозы будут платить, а охотоуправление. Но нужно, чтобы о появлении волков сообщали сразу, чтобы, например, уже на следующий день можно было начать погоню, пока они далеко не ушли, пока виден их след.

Вспомнилось, в газете «Полярная звезда» читал:

«За три последних года в совхозах нашего района от волчьих клыков погибло 2888 оленей».

В этой же статье говорится о том, что в течение нескольких дней одно из стад совхоза «Большевик» преследовали 27 волков, наглость которых с каждым днем все возрастала. И о том еще, что охота на волков с вертолета тоже не такое уж «прибыльное дело», поскольку один убитый волк стоит чуть ли не 800 рублей (эксплуатация вертолета влетает в чувствительную копеечку). И что с волками если не эффективней, то проще всего бороться именно в бригадах. Только соответствующим образом надо вооружить пастухов, во всяком случае хотя бы заменить изношенное оружие, которое не одного оленевода подводило в критические минуты.

Все знает Задунаевский, все понимает. Как лучше организовать и где в тундре провести летовку оленя, как по возможности не допустить в стаде «копытки», как от гололеда спасаться, когда вся тундра, куда ни глянь, словно жидким стеклом облита. Летом тоже не мед. Сейчас еще грибов нет, хотя и мелькают уже изредка сыроежки, подберезовики. И комар держит оленей в скученности, хоть искусанными боками друг о дружку потрутся. А вот чуть ближе к осени, когда похолодает, осядет и комар, олени за каждым грибом наперегонки будут бегать.

Задунаевский лет пятнадцать в этих краях, если не все двадцать. Работал на мысе Биллингса (в бухте Нольде), затем в совхозе «Певек», всю Чаун-Чукотку прошел, весь путь от пастуха до главного зоотехника одного из лучших в области оленеводческих совхозов. Так что ему и олень знаком, и нужды пастуха он знает, к нему с какой-нибудь ерундой не подъедешь на телеге. Образование? Есть среднетехническое, но от-

нюдь не зоотехническое. Практика, опыт... Да и кругозор, отличающий вполне интеллигентного, пытливого к событиям в науке, литературе и искусстве человека. Можно заметить, что особенно ревнивое отношение у него к «своим», магаданским, вообще северным писателям. Многих знает и лично, за двадцать лет кого не повстречаешь даже в тундре. Тем более что магаданские писатели — те, что помоложе, — народ мобильный, беспокойный, сами, в общем, школу тундры, суровую чукотскую школу прошли. Так вот, знаком был Задунаевский и с Олегом Куваевым (когда-то в Билибине встречался с ним и Етылен, когда работал там в райкоме комсомола, — способствовал писателю осуществить, если не ошибаюсь, путешествие на лодке по реке Омолон).

Обо всем этом мне рассказал Етылен, пока мы ехали в следующую (Пятую-Восьмую) бригаду. Ее возглавлял Михаил Иванович Вытельгин.

Бригаду Пятую-Восьмую отыскали быстро, хотя уже начинался дождь, холодный, льдистый, все окрестные холмы заволокло дымной сырой мутью. Встретил нас главный ветврач совхоза Евгений Васильевич Краснорылов. Прежде всего накормил мясом, хотя и холодным. Кое-как вскипятили и чай — уже не на сырых прутиках, а на щепках от ящика из-под галет.

Евгений Васильевич доложил, что «копытки» почти нет, сохранность молодняка в стаде хорошая. Да и носовой овод, можно сказать, свое время уже упустил, холода не дали ему развернуться, разве только подкожный еще будет. Но вот носовой! Спасенья от него оленю, в сущности, нет, терпи — и весь разговор! (Когда, например, носовой укусит собаку, отложит яйца, от этого в носу нестерпимый зуд, мается псина, места се-

бе не находит; хозяин, если любит собаку, дымом табака ей в морду пыхает, — так ведь ей и дым не в радость, уж и не разберет, какое из двух зол лучше; а то еще и в глазу этот овод может оставить яйца, — уж и вовсе животному беда.)

В бригаде два вездехода — один, впрочем, вместе с нами уйдет на центральную усадьбу. Ему нужен ремонт. А пока едем все ближе к оленям и оленеводам — предстоит такая же беседа, откровенный разговор, как утром в бригаде Кымына. Меня пригласил к себе в кабину вездеходчик — недавно приехал из Ставрополя. В армии генерала возил. Даже ранение имеет на гражданке, по отважности натуры, в милицию пошел, получил несколько ножевых... Сюда приехал с женой-осетинкой. Она на центральной усадьбе. Скучает. Если по рации случится парой слов перемолвиться, всегда упреки: «Почему так сухо разговариваешь?» А ему что, в любви ей объясняться на весь эфир? Не хочет быть одна. Требует, чтобы приехал. Но как приедешь, когда к бригаде привязан такими канатами, что...

Канаты толстые. Имя им — производственная необходимость.

Снаружи — слякоть, глаз не протрешь. Унылые фигуры пастухов в дождевиках, с рюкзачками за спиной: запас еды на всякий случай, чайник, кружки, ложки... Плечи блестят от потоков воды. Унылые олени, которые, впрочем, к дождю привычны, кашлять потом не будут. Для человека же погода самая простудная, обогреться-то негде, даже костерка толкового не сообразишь.

Я, собственно, и под пробирающим до костей дождем не был, а куртка пропитана влагой; сырость, сырость даже под брезентом кузова...

Вездеходы пятятся один к другому задним ходом с таким расчетом, чтобы большинство людей, пока будет беседа, смогли сидеть в кузовах. Стыковка как на орбите. Етылен, Задунаевский, Вытельгин, еще несколько пастухов — те останутся как раз под открытым небом. Еще раньше, чуть только наш вездеход притормозил, я вылез из кабины, подошел к пастухам, поздоровался, для приличия немного постоял и, не зная, о чем вести разговор, зябко поеживаясь от струек дождя, стекающих за ворот, не нашел ничего более разумного, как снова захлопнуть за собой дверцу кабины.

Впоследствии, когда мы день или два жили с Етыленом в гостинице на Айоне, гоняли совместные чаи, он в откровенном разговоре признался, что молодые пастухи успели даже стишок обо мне сочинить.

— Какой же?

—Вы не думайте, они ведь все десятилетку имеют, — не без уважительности и гордости за них сказал Владимир Михайлович, — литературой интересуются, читают... Стихи? Пожалуйста, могут и стихи выдать.

— Так какой же стишок-то?

— Да я не помню всего куплета, только начало. Кстати, и не в вашу пользу стихи-то...

— Все равно давайте. Тем любопытней, что не в мою пользу. Давайте начало...

— «Наш писатель Пасенюк поздоровался — и в люк!»

Етылен не ожидал от меня такого искреннего хохота.

— Так ведь это здорово, смотрите-ка, — сказал я, вытирая проступившие слезы. — Здорово, что у них нашлось настроение сочинить эти строчки. Гм... Скрылся в люке — и дал тем самым по-

вод, дал пищу, понимаете ли... Ну что же, теперь будет повод и мне для кое-каких размышлений!

— Да, возможно, — согласился Етылен, не совсем еще меня понимая и все-таки осуждая задним числом, — но, знаете ли, для чукчи это оскорбительно — подойти и уйти, даже не побеседовав. Поздоровался — и назад. Они же, знаете ли, в тундре, и раз уж кто-то к ним приехал, какие-то гости, от них всегда чего-то ждут. Тем более когда литератор.

Да верно, верно, чего там... Повел я себя далеко не лучшим образом. Но и самоистязаться что-то не хочется, противится душа. Не такой уж я тепличный на самом деле, в жизни всякого пришлось повидать. Здесь же, в бригаде Вытельгина, сказались усталость и пробирающий до костей слякотный холод, но главное, не был я готов к беседе с ними, а сиюминутными экспромтами, уместным или не совсем уместным анекдотом никогда не пробавляюсь, просто не умею этого, да и память не держит. А вопросы... но какие вопросы?! Как дела, мол, ребята? Мерзнете, мокнете потихоньку? Да это не беда, вы молодые, вам полезно пройти такую закалку, вам должно быть все нипочем! И вообще, наши люди не такие еще трудности преодолевают.

О чем ни спроси в подобной обстановке, боюсь, что все будет и наивно, и мелко. С налетом бодрячества этакого. И разве я не вижу сам, какая у них жизнь?

Есть ситуации, когда вопросы излишни, а то и впрямь оскорбительны. Бывает, когда молчание — благо. Да и не актер же я в конце-то концов, тот мог бы и выступить в каком-нибудь жанре, что-нибудь продекламировать или изобразить.

...В тундру, к стаду, чтобы подменить товарищей, побрели дежурные пастухи. Ушли, медленно истаивая в моросящем дожде. У каждого охапка ящичной щепы под рюкзачком, без нее мокрую березку не разожжешь.

Глядя им вслед, не мог удержаться от невольных слов участия. Етылен на это сказал:

— Не позавидуешь. Памятники надо бы ставить этим людям, а у нас для них лишнего вездехода не выбьешь либо карабина. Как тут заманить человека в тундру, особенно молодого?

— Но ведь жизнь оленевода такая издревле, особенно здесь. Тундра им как мать родная.

— Ну, то раньше было — хочешь не хочешь, а живи при оленях, в них все, весь смысл бытия. Да и где олень, там и дом, другого жилья, оседлого, попросту не было. А сейчас есть на что взор обратить и помимо олешек.

— Текучесть, наверное, здесь повсеместна?

— Не скажите. Вон в Билибинском районе лес — там иное дело. Там и оленеводу легче.

Да, лес — укрытие, там можно в любую погоду высушить мокрое у костра, взглянуть на окружающее более веселыми глазами. Да и оленю добро — лишний раз бока о стволы почешет. Правда, у оленеводов и свое особое мнение есть: зимой с оленем в лесной зоне, конечно, красота: и защита от ветра, и дров для костра хоть завались, и лес сам по себе сквозной, голый, хорошо просматривается; летом же олени в лесу разбредутся — не уследишь! Когда в тундре и то какие отколы бывают. По нескольку сот голов. Иногда с самолета увидишь — ахнешь: «Хорош кусок!» А браконьеры, между прочим, ничейными таких оленей считают.

С нами в усадьбу едет ученица-чукчанка. Тоже пастух, пока каникулы. Звать Светой. Плот-

ная, по-чукотски низкоросло-коренастая. И миловидная. Задунаевский недоволен: почему уехала в разгар летовки? Молчит. Соскучилась по своим, наверно. Да и устала в непривычной, даже для парней тяжелой обстановке. Чувствуя свою вину, в промежуточных охотничьих избушках, где мы чаюем, где угощают нас то вяленым гольцом, то даже сырокопченой колбасой, сидит скромненько в сторонке, как сирота казанская... А ведь голодна! Так же молча тянет руку, когда даю ей колбасы с хлебом и кружку чая. Здесь до пронзительности четко осознаешь, что крепкий горячий чай да вволю с сахаром — воистину напиток с Олимпа, дошедший до наших дней!

Пролив — угрюмый и свинцово-отчужденный. Маячит за ним плоская лепешка острова Айон. Не верится, что вездеход ринется сейчас через пролив вплавь. Нагонная волна из океана, подпираемая льдами, вызывает при взгляде на нее серую тоску.

Однако плывем, выбора нет — два вездехода в кильватерном строю: если один попадет в беду, то хоть другой затормозит, даст задний ход. Пока гусеницы задевают, царапают дно, беспокоиться не о чем. Потом вездеход оказывается на плаву, дна уже не достать. Немного все-таки тревожно. Чтобы сориентироваться, выглядываю в грязное окошко: если заглохнет мотор, крупная боковая волна начнет сбивать вездеход и захлестывать в кузов... Вообще, как сообщил Саша Осетров, наш ГАЗ-71 волны не любит, может перевернуться. Ему в самый раз переплыть тихое озеро, болото какое-нибудь... а тут все-таки изрядно бьет в бок.

Уповаем на лучшее. Накануне Саша переговорил с женой — она радисткой на Айоне, — и

нам известно, что хотя баню и собирались закрыть на ремонт, но в нынешнюю субботу протопили еще разок, а сегодня как раз суббота. И мы спешим, мы уже опять зацепили гусеницами дно пролива, воспрянули духом, почувствовали землю, привычную нам землю, которая не подведет.

Отсюда до села — километров восемнадцать берегом, по плотно утрамбованному слабым заплеском песочку.

В СЕЛЕ АЙОН

Живем, как уже говорилось, с Владимиром Михайловичем в гостинице. Его командировка заканчивается, он спешит на бюро райкома. Но какая еще будет погода, прилетит ли вертолет?..

Как-то с утра заглянули в контору совхоза. Совхоз — неизменный участник ВДНХ. За высокие производственные показатели награжден многими медалями и дипломами Выставки.

В конторе зашел разговор о расценках на лов рыбы, явно мизерных, не эквивалентных затратам труда. Главный экономист совхоза Горячев, стройный, подтянутый, даже щеголеватый в темно-синем импортном костюме с латунными пуговицами, с живым пытливым блеском глаз на узком лице, сказал без тени сомнения:

— Если есть за что платить и есть возможность платить, — значит, надо платить. Мы такого принципа у себя придерживаемся. Фонд заработной платы у нас, например, из года в год растет. Бригадир-оленевод, — взгляд в мою сторону, — знаете сколько у нас получает? Да так порядка двенадцати — тринадцати тысяч в год.

Вот у Кашкарова — охотника — тоже до двенадцати тысяч. — Потер в некотором недоумении затылок. — Сам я в прошлом охотник, но... поражает меня Кашкаров. Какая-то чуть ли не мистика. Похоже, он придумал универсальный метод роста производительности охоты. Кривая его показателей из года в год неуклонно ползет вверх. Тужится, но ползет! И секретом этого ни с кем не делится.

Я не утерпел, потому что имел уже кое-какое, пусть слабое, представление о Кашкарове:

— Так ведь нечем делиться, все куда как наглядно.

Горячев недоверчиво усмехнулся:

— Э, не скажите. Ведь и по качеству у него самые высокие показатели. В конце концов, весь план песца можно взять в декабре, многие так и делают. А ведь в декабре мех не качественный, еще не совсем прошла линька. Важно ведь, чтобы песец обтерхался мехом о снежный наст, чтобы вышел наружу нежный подшерсток.

— Практически мех у песца лишь тогда хорош по-настоящему, когда уже на охоту запрет, — засмеялся Задунаевский. — Такой вот нонсенс.

Горячев подсунул ему развернутый лист.

— Вот, они, показатели Кашкарова. Пятьдесят шесть шкурок, в 1977-м — восемьдесят три, в 1978-м — сто пятьдесят... Нынче он дал годовой план еще в первом полугодии. Первый охотник в области как по качеству добытой пушнины, так и по количеству. Первое место в соревновании. Грамота облисполкома и премия.

— А кто впереди среди любителей?

— Сергей Чайвын с острова Врангеля.

Я и спрашивал потому, что заметил в какой-то графе эту фамилию. С Чайвыном я прекрасно

знаком, по острову Врангеля, и за многое ему благодарен. Но слышал — земля слухами полнится, — что и он там у себя не устает меня нахваливать. Кто-нибудь из пишущей братии туда приедет, — а приезжают часто, — Чайвын им этак пренебрежительно: ну, куда вам, все на вездеходах да на вертолетах, а вот приезжал к нам такой-то, мол, так он весь остров сплошь пешком обошел. В тундре ночевал под голым небом.

Было, было... Давно было. Девять лет назад. Сейчас, к сожалению, уже и я в основном ориентируюсь на вездеходы и вертолеты. Да, впрочем, по Чаун-Чукотке, сплошь заболоченной, испещренной синими венами вздувшихся рек, не очень-то походишь пешком.

— Чайвын когда-то брал меня в свою байдару охотиться на моржей, — сказал я вроде бы вскользь не без тщеславия. — Есть о чем вспомнить, хотя и опасная то была охота.

Горячев тем временем полюбопытствовал, как ехали, как форсировали пролив, что видели...

— Бочки в основном.

Бочки, бочки, завал, апофеоз бочек из-под горючего! Вот еще проблема для районов Крайнего Севера — куда девать эти бочки? Ведь и металл на их изготовление идет не копеечный. Каждая бочка обходится потребителю от шести до десяти рублей.

— Где-то нашли выход — дом из бочек построили, — отозвался на мое сообщение Горячев.

— Даже из бутылок строят, — уточнил я.

Посмеялись, отдавая должное человеческой выдумке; но шутки шутками, а...

— Конечно, вывозить эти бочки надо, давать им какой-то оборот, — продолжал Горячев. — И есть такая возможность, когда зимняя дорога

на Певек установится. Машины ходят. И даже порожняком. Но даром-то они эту тару — из простого, так сказать, человеколюбия — не заберут. За плату опять же нам не с руки. Почему? Да потому, что надо платить автохозяйству за грузотонну, а бочки-то ведь порожние. Платить приходится по грузоподъемности машин, а отправишь на ней всего ничего... Вот, говорят, на горнорудных полигонах, где моют олово, приспособились отправлять в этих бочках на обогатительные фабрики намытый концентрат. Бочка делает полный оборот, возвращаясь, так сказать, в исходное положение. А мы чем их будем загружать? Олениной, что ли?

У меня еще будет возможность пообщаться с Горячевым — человек он далеко не простой. И биографией, не лишенной неожиданных зигзагов и приключений.

...Наконец выдался в небе полуторачасовой просвет, и Етылен, не отходивший от телефона, все-таки заполучил «вертушку».

И снова глухо захлопнулось, заплыло туманными пластами небо. Если и случались просветы благостной синевы именно здесь, их не было по трассе. И остров, если не считать телефона, радио, телевизоров, на добрый десяток дней оказался отрезанным от внешнего мира.

По улице мимо конторы время от времени пробегает евражка. Совершенно свой, сельский, забавный и до предела невозмутимый. Изредка встает свечой, замирает, куда-то вглядываясь, быть может ориентируясь на местности, и снова быстро-быстро семенит по своим евражечьим делам. От него приятно глазам, как от маленького солнца, шариком катающегося в траве и уличной пыли.

Скудновато с пропитанием, если живешь в

гостинице: фаршированная колбаса в банках, горошек и баклажанная икра. Впрочем, эта икра в иных южных местах дефицит чуть ли не наравне с кетовой... Обычные нелепости бесхозяйственности и нежелания разбираться в конъюнктуре спроса и потребления. Что касается здешней столовой, то кормят в ней вкусно, отличные гуляши с картошкой, оленина своя, не привозная. Так что жить можно едва ли не припеваючи.

Ибо, как сказал Твардовский, «Я в скуку дальних мест не верю». Конечно, если есть чем заняться либо если тебя усиленно занимают. Но Айон — место все же изрядно скучноватое. Тут мелкое происшествие становится чуть ли не событием. Кто-то поймал рослого, прожорливого совенка, и вот уже на него ходят поглазеть, фотографируются с птицей в руках или на плече. Залетел откуда-то орел — опять разнообразие. Жаль только, что первое, о чем вспоминают мужчины в таких случаях, это ружье. Стрельнуть... И пошла пальба.

Скучать, на худой конец, не дает и телевизор. В этой вот дальности, в арктической глухомани привыкнуть к светящейся, лицедействующей, громыхающей джазами коробке я так и не могу.

Был в гостях в семье председателя сельсовета Зои Михайловны Калятваль. Ее муж, Валерий Собко, кажется, юный с виду, хотя ему уже двадцать шесть, работает дизелистом. В квартире чистенько, уютно. Стеллаж с книгами (есть и неплохая беллетристика, и по науке, по технике кое-что). А главное — цветной телевизор! Потешный Хазанов, площадь Этуаль, трущобы Нью-Йорка, партизаны в Никарагуа — всё на острове Айон едва ли не в тот же день и час. Выглянешь

в окно — плоско, стыло вокруг, сколько хватает глаз — рыхлые льды.

Надо сказать, что село гостеприимное да и свежий человек оттуда, с материка, не так часто заглядывает в эту отдаленность. На следующий вечер или через вечер зовут в другой дом, где первое лицо, глава, по всему судя, Татьяна Яковлевна Савинова — заведующая детским садиком и яслями. Педагогическое образование получила в Ульяновске. А вот куда занесло! Нет, не сразу сюда, сначала в Сирениках, в Провиденческом районе, жила. О, там интересно, сопки, ягоды, грибы, пролив, моржи, киты — ой, ой, ой, что вы-ы!.. Кита к берегу доставят на буксире — никакого удивления, все обычно, вместе с тем празднично. А тут твердят на совещаниях, да и книги присылают, методики — воспитывай у детей любовь к природе, к окружающей среде, а где же природа, остров едва возвышается над льдами. В прошлом году вывели однажды детишек за околицу погулять, посидеть, травку разную понаблюдать, так комары вдрызг загрызли. В этом году не комары, — значит, холод невыносимый... Было дело, все-таки уехали назад в Ульяновск — это еще из Сиреников, — но не смогли, нет, не смогли. Хотя в Ульяновске и квартира, и работа, всё, всё есть. Но нет. Чего-то такого для чувств мало. Потянуло назад, да с такой силой, что кто бы мог подумать... И вот попали теперь на Айон, хотя можно было и Рыткучи выбрать. Наверное, лучше бы Рыткучи, все-таки уже материк, да и к Певеку ближе», — но говорится об этом как бы между прочим, без явного сожаления...

Мало-помалу вырисовывается для меня быт села, особенности жизни и производства здесь, чьи-то радости и печали... Все довольно-таки обычно, разумеется, с поправкой на арк-

тические, а затем уж и на островные условия.

В гостинице если и не тепло, то, во всяком случае, чувствуется жилой дух. Есть электросамовар. В библиотеке прекрасный выбор книг, вплоть до Марселя Пруста и Маркеса. И хотя я обложен туманом плотно, как медведь в берлоге, меня это не очень волнует: я пока не тороплюсь улетать, впереди еще поездка с Задунаевским в одну из оленеводческих бригад, на сей раз «домашнюю», находящуюся на острове. Бригада не из преуспевающих — тем более за ней присмотр нужен. Да и пастух там заболел, — видно, схватил простуду, что и ускорило наш выезд.

ТЫНАРАХТЫРГИН — ТОНО-ВАЛЬГИРГИН

Бригада — Первая. Но не первая, как уже сказано, по производственным показателям. Она на востоке острова, отсюда довольно далеко.

Вездеход битком набит пастухами, почему-либо оказавшимися в селе, — некоторые и пешком приходят, — женщинами и детьми. Дело в том, что на полпути к бригаде и даже ближе к ней есть так называемые тяжелые яранги. Это громоздкие сооружения из жердей, обтянутые сверху тертыми-перетертыми оленьими шкурами. Внутри один или два меховых полога, в которых спят женщины, дети, старики. Чукча — человек кочевой. Жизнь на природе для него то же, что для нас в городской квартире. Молодежь стада пасет, а семья где-то поблизости, но и не очень-то близко, в таких вот ярангах обитает. Так сказать, летний образ жизни. Да и база для оленеводов, где лежит до поры одежда, продукты, охотничье снаряжение. В ярангах, бывает, чай пьют из фарфоровых чашек. Это уже оседлость, устоявшийся быт.

Пастух тем временем бродит по тундре с палаткой, чайником и кружкой. Вот и все его имущество. Остальное, правда, подкинет вездеход или трактор с прицепом...

Мало-помалу пассажиры сходили, сгружали свой багаж. Стало просторней. В кузове, там, где сидел в предыдущей поездке Етылен, нынче фельдшер Горячева, жена того самого элегантного экономиста, о котором уже была речь, да вот еще я... Как и прежде, в кабине Саша Осетров и Задунаевский с неизменной трубкой в зубах. Но эта уже не та трубка, что была у него в прежней поездке, ту он изгрыз.

— Лучше леденцы сосите, — посоветовал ему однажды, но он не согласился: у каждого свой метод отвыкать от курения. Да уж что-то больно долго отвыкает: два года! Это сколько же трубок в щепу искрошено.

Ветер, заряды снега, редкие стылые прояснения, зябкая ночь. Причем опять бессонная. Унылый ландшафт. Его оживляет влажная зелень долин, болотных впадин, жидкое цветенье каких-то растеньиц в крутых растрескавшихся, словно в жару, берегах, особенно с южной стороны острова, на обрывах к морю. Море (собственно, губа) гладко и отполировано, как большой сероватый халцедон, ходят по нему блики. Свойственно ли этому водоему волнение — в смирительной рубашке льда, правда сейчас уже отошедшего от берега? Почти несвойственно, потому что вода хлюпает точно в обрез плесенно-зеленой травы, тихо-тихо, как в каком-нибудь подмосковном затхлом пруду. Шторма содрали бы эту жалкую зелень без остатка. Но тем не менее «пруд» угрюм и мрачен, его отполированность скорее отпугивает, чем привлекает. Свинцово-серая обманчивая гладкость, показная флегма... Бр-р! Два шага от

закраины в глубину берега, в песок — и лунки уже подернуты льдом. Днем, наверное, растает, днем потеплее.

Валентина Митрофановна Горячева не новичок в этих местах (что-то и не видно здесь новичков). Живет уже лет десять. Нравится? Обычный и самому поднадоевший вопрос, а и не обойдешься без него. Да ничего, жить можно. У нее и образ жизни к тому же не монотонный, не на одном месте сиднем все эти годы просидела. Несколько лет была секретарем островной комсомольской организации. Часто поэтому в Певек ездила, то в райком, то какая-нибудь конференция. Ну, а Певек — это уже столица Чаун-Чукотки, есть куда пойти, есть что посмотреть. Многолюдье, шум, суета. Новые знакомства, через день-два в гости начинают звать...

В тундру сейчас едет по необходимости, там ведь больной, как бы чего не было с ним... Но для нее это и разнообразие, отвлечение от сельского, примелькавшегося, выезд на лоно природы, так сказать. Попутно и ворох поручений от сельских женщин: кому-то кулечек с конфетами передать, кому-то свежее белье, некоему Ирасику-Карасику в тяжелую ярангу — игрушечное ружье... Заодно в яранге осмотрела и прослушала всех подряд детишек и взрослых. Сами чукчи неохотно говорят о своих болезнях. Хотя есть и симулянты, лишь бы от стада в село стрекануть.

Вскользь расспрашиваю Валентину Митрофановну о муже. Не скрою, когда он беседовал с Етыленом, удивила культура его речи, четкость доказательств, формулировок. Отточенность фразы, особенно деловой, обнаженность в ней сути. Даже мне, малосведущему, становилась видна движущая пружина какого-либо экономического явления в совхозе. Не скрою, что я

был уверен и в начитанности Горячева, но какой все же литературе он отдает предпочтение?

— Мой муж коренной москвич, — охотно пояснила Валентина Митрофановна. — Это уже что-то объясняет в нем, разве нет? И семья такая... В свое время он Суворовское почти закончил, с последнего класса ушел. Ну и... знаете, сколько он читает? Везде, постоянно, у него нет отдыха вот как у людей. Только чтение. Но не думайте, не художественную... Он книги по философии прямо-таки глотает одну за другой, научное все... по экономике...

Многое в облике Горячева для меня прояснилось.

А ночь тянулась нескончаемо, мы уже побывали в бригаде, забрали больного пожилого пастуха (диагноз — воспаление легких), попили чаю близ стада — оно растянулось по ближним и дальним увалам, уплотняясь и рассеиваясь, как рой насекомых. Иногда исчезало из поля зрения, захлестнутое плотными зарядами снега. А когда на короткое время прояснялось, стадо, словно омытое живой водой, как бы укрупнялось в очертаниях. Мы шли ему навстречу уже пешком (я с фоторужьем наперевес, гоняясь попутно за голенастыми куличками), однако и к нам его подгоняли все ближе... Задунаевский хотел выборочно проверить оленей то ли на предмет заболевания «копыткой», то ли еще для чего... Муторной это было для двух пастухов задачей: пока они заворачивали край стада в нужную сторону, другой его край отпрядывал назад, увлекая за собой и все стадо. Часть оленей могла в это время и оторваться, отколоться, так сказать. Что, впрочем, здесь, в пределах острова, не слишком тревожило пастухов: далеко не уйдут.

По слухам, на острове водились и волки, что

было вполне вероятно — ведь зимой он наглухо смыкался с большой сушей ледяной перемычкой.

Уехал я из этой бригады с прежним ощущением: пастухам трудно. Но по крайней мере здесь, в Первой бригаде, они не очень-то и внимательны к оленям, не прочь прийти к стаду с опозданием, вообще на время отлучиться в неизвестном направлении...

Нам оставалось проведать охотничий участок Трофима Тынарахтыргина. Сам он по-прежнему лежал в больнице в Певеке и, по словам Задунаевского, состояние его здоровья было не ахти, хотя, возможно, тот и не догадывался. («Мне ничего не говорят. А мне бы еще разок в тундру сходить, посмотреть, как она цветет. На охоту разок бы сбегать, да вот ноги, ноги...»)

Вездеход, натужно урча в рытвинах и распадках тундры, сползает снова на берег, сворачивает к домику Тынарахтыргина. Валентина Митрофановна с искренним уважением, почти благоговейно рассказывает о жене Тынарахтыргина Вале. Дети у нее все здоровые. Причем она не только своих воспитывает, у нее и дети мужниной племянницы, которая умерла. Всего одиннадцать детишек. Это подвиг, знаете ли, всех одеть, обуть, накормить. И не скажешь, что сама здоровячка. Однако тянет: рыбачит, охотится. Весь участок на ней, муж-то в больнице...

Домик пустует, в нем стыло, но растапливаем печку, не терпится согреть нутро чаем. Сама Валентина Тынарахтыргина живет летом с детьми наверху в яранге. Горячева уходит к ней со своим фельдшерским чемоданчиком: кто-то из детишек все же приболел, кашляет...

Возвращается минут через сорок с хозяйкой. Тынарахтыргина принесла слабо вяленого гольца, приглашает угощаться. Добрый голец! Хочу

сказать ей, что я не совсем чужой в числе поздних (время к рассвету, если по нашим понятиям) гостей, что знаком с ее мужем, видел его недавно, чаевал с ним... Но она никак не реагирует на это. Такое впечатление, что либо не поняла, о чем я говорю, либо не принимает меня всерьез. Сидит на корточках в керкере (женском меховом комбинезоне), похожем в бедрах на галифе, сухая, черная, скуластая, с быстрыми глазами, руки же — кисти — не то чтобы сухие, а как бы даже вовсе усохшие. И эти руки изо дня в день перебирают в ледяной воде сети, рубят дрова, таскают ведрами воду, нянчат детишек. Непостижимо, откуда и сила, и желание всем этим, чему нет конца, заниматься! Сейчас в сухих пальцах крепко зажата сигарета...

С Задунаевским, с Горячевой толкует охотно (свои), хотя и односложно: короткие ответы с паузами, — наверно, размышляет, быть может, как лучше, точнее ответить.

Горячевой, как видно, близка судьба ее старшей дочери Тани, она давно ее знает. Замужем Таня в Певеке. Учительница. Хорошо живет. Ковры в квартире, телевизор... а хочет возвратиться на Айон! Горячева в душе, конечно, понимает, что может тянуть даже интеллигентную чукчанку в свое родное, привычное с детства, но вслух удивляется:

— Чего же это она? Телевизор, ковры... хорошо живет. Зачем же она на Айон? Из города?

Старуха (есть ли ей хотя бы пятьдесят?) пожимает плечами, в керкере это движение едва уловимо, докуривает сигарету. В настывшем доме сумерки, мигающий огонек высвечивает ее спокойное лицо. Что-то древнестоическое, согласное с любым поворотом бытия, любым житейским завихрением, в ее поведении, позе...

Пора и поторопиться, ведь с нами больной пастух. Но близ села проведываем еще одну тяжелую ярангу. Сбитые в труху кочки прикрыты шкурами. На них низкий столик для еды и чая, вразброс книги без обложек...

Старейшина здесь Тоно-Вальгиргин. Сидит в глубине яранги как суровый неподкупный бог. По-русски не говорит. Но понимает. Ему 68 лет. Его жене, тут же проворно расставляющей небольшие фарфоровые чашки для чаепития, намного меньше, но на вид так же стара. Морщины, слишком рано становятся морщинистыми чукотские женщины. Не от хорошей жизни. Не от пуховых перин. Конечно, могут быть и пуховые, времена-то меняются. Но кочки, особенно для стариков, почему-то милее.

Тоно-Вальгиргин отец председательницы сельсовета Зои Калятваль. Вот где дом — образец опрятности, а еда — за уши не оттащишь! И что ж? О чем мечтает Зоя Калятваль? О том, чтобы съездить к своим хотя бы на несколько дней и всласть пожить на свободе, в тяжелой яранге. Вот о чем она мечтает, и лучшего отдыха ей не надо. Может, и верно. Раскованность здесь. И просто все. Без условностей. Да и лето ведь, пока тепло...

Ах, как вкусна, как хорошо сварена оленина у Тоно-Вальгиргина! Ни слова не говорит, а угощает от души.

Я, впрочем, какие-то малости уже знаю об этом старике. Несколько лет назад на острове побывала группа иностранных журналистов. И поляк Марек Сечковский прислал потом журнал со своим очерком. А в журнале на цветных фотографиях Тоно-Вальгиргин. Сейчас они висят на стенде в коридоре айонской школы. Я уж не знаю, затруднился перевести, что пишет о

Тоно-Вальгиргине польский журналист, но что плохое можно сказать о старом оленеводе и охотнике, всю жизнь отдавшем тундре, ныне короле и властителе тяжелой яранги? Скажешь только хорошее, уважительное. Жаль, что по-русски он так и не выучился, опять же потому, что тундра и свой ритм жизни продиктовала, и время отняла, а то порасспросить бы его о годах протекших и канувших. Но и такие расспросы — во многом обреченное дело. Годятся, чтобы набросать что-то внешнее, какие-то беглые штрихи к портрету, который можно написать всерьез и по-настоящему, если человек позирует тебе долго, месяцы, годы... Позирует, сам того не подозревая.

«ДОМ ВУТЫЛЬХИНА»

Если внимательно присмотреться к старой и достаточно подробной карте Чаун-Чукотки, то над самым северо-восточным бугристым побережьем Айона как бы завис островок Рыяндранот. Он почти смыкается с Айоном. Так вот на нем можно прочесть у черного квадратика надпись: «Дом Вутыльхина». Видел эту надпись и я, еще когда пристально изучал карту до поездки на Чаун-Чукотку. Видел, но, конечно, не представлял, что в будущем каким-то образом мне удастся «зацепиться» пером за это название. Отчасти оно и притянуто здесь именно для заглавия, хотя Вутыльхин, его судьба все же замыкают наш последующий драматический рассказ.

Начать с того, что главный экономист совхоза «Энмитагино» Виталий Сергеевич Горячев лет девять-десять назад был охотником по ту сторону Чаунской губы, на Шелагском мысу.

Стоял последний день сентября, тихое, осеннее, чуть морозное выдалось утро; по всему бы-

ло видно, что выпал в погоде просвет, после которого и вообще ждать добра нечего... повалит снег, начнется образование и уплотнение льда. Горячев с охотником-чукчей Кергитагиным взошли на мыс, откуда далеко простирались скопления паковых льдов, можно было даже расслышать рев моржей. По хорошей погоде моржей далеко слышно, если их много.

Определили, что моржи на ледовых полях не далее как в сорока километрах от берега, и решили идти. Идти без разговоров! Когда теперь такая погода выдастся? Между тем и план по добыче моржей для нужд чукотского населения еще не выполнен. А что далеко — ну, не такое уж расстояние для исправной лодки («Казанки»; тогда еще в совхозе «Прогрессов» не было).

Словом, обнаружили это ледяное поле со стадом и двух моржей убили. Надуть их, чтобы можно было буксировать, не составило труда, операция привычная... немного, правда, прокантелились...

Как-то незаметно задул устойчивый восток, который уже потом, ближе к земле, к желанному Шелагскому мысу, столкнулся с местным ветром типа боры, образовав на море сложное завихрение воздушных потоков, беспорядочную толчею волн, пока еще метров до двух-трех высоты. Мало хорошего, даже когда налегке идешь, а если на буксире морж... Другого вообще не взяли, приметили только льдину, где он остался...

Вскоре стало ясно, что и с одним до берега не дойти. Но Кергитагину жалко было терять добычу, по всему судя, последнюю в этом году. Он был старше Горячева, опытней, в совхозе «Большевик» человек всеми уважаемый, в то время — секретарь совхозной парторганизации. Горячеву как-то даже неловко было с ним спорить. Ну,

обойдется так обойдется. Попробуем дотянуть.

«Казанка» и сама по себе плохо реагировала на волну, зарывалась, а тут еще буксир... Скорость упала до трех-четырех километров. Но когда Горячев, отчаявшись, все-таки перерезал буксир и морж закачался позади в буруне, легче не стало. «Казанку» заливало встречной волной и норовило перевернуть. Время было упущено. Что ж, сняли «Вихрь», заменили его запасным «Ветерком» — в расчете на более ровный ход: тише едешь — дальше будешь. Но у «Ветерка» всего восемь сил: основательно подбивало волной нос, а корма ухала, оседая в провалы. Мотор захлебывался от перегрузки, шпонки на больших оборотах, чуть винт зарывался в воду, летели одна за другой... Намучились, меняя их. Кроме того, нижний цилиндр мотора уже явственно заливала вода. Осталась надежда на весла. Да и берег был хорошо виден, вроде бы рядом маячил. Но ветер все усиливался, чувствовалось, что задувает уже метров до двадцати пяти в секунду. А тут еще эта толчея... Весло у Кергитагина вырвало, и хотя оно плавало поначалу рядом, лодку валяло так, что не удалось поймать даже кошкой.

Совсем худо стало с одним-то веслом. Настолько скверно, что не оставалось уже ничего иного, как просто дрейфовать, учитывая, что при таком ветре есть возможность «зацепиться» за остров Айон на той стороне Чаунской губы. Если повезет. До Айона километров девяносто — сто верных. Не рядом. Совсем не рядом.

Повернули лагом, то есть бортом к направлению дрейфа, хотя это было опасно: какой-нибудь резвой волной лодку могло залить и опрокинуть. А носом по волне держать ее стало и вовсе невмоготу! И все-таки ту самую *резвую* не

уследили, и она накрыла лодку до кольца, за которое страховочным тросом крепится мотор; бывает, что мотор может сорвать с транца, вот для этого страховка. Крепенько накрыло. Нахлест такой волны для «Казанки» был вообще критическим. Тем более что придававшие ей плавучесть бачки были только в носу, а остальные убрали, чтобы не занимали на охоте лишнего места. В таком положении лодка могла затонуть, удерживаясь в воде вертикально. Однако она не встала в воде вверх носом. Хотя от удара Горячев почти вылетел за борт. На счастье, он зацепился одеждой за металлический угольник, крепящий корпус лодки продольно.

Кергитагин перепугался, но испуг не лишил его способности действовать разумно, и он, изо всех сил упираясь, пыхтя, уже не следя и за волнами, навалился на противоположный борт. Лодка выровнялась, черпнув изрядно воды. Охотники были по-чукотски тепло одеты, знали, что не на прогулку идут: кухлянки, меховые штаны «к’онагтэ», малахаи. И хотя холод все равно донимал, промокли ведь, но еще было терпимо.

Не успели кое-как крышкой-колпаком от «Ветерка» вычерпать воду — тут новый бурун... а за ним еще, еще... Пристроиться бы к попутной льдине и дрейфовать вместе с ней. Лучше всего — к большому торосу, и один такой гигант им попался. Приноровились закинуть на него кошку, хотя у тороса с наветренной стороны вскипал опасный прибой, ничего хорошего не суливший. Однако лодку стремительно пронесло мимо. А если с другой стороны?.. Там и вовсе затишек, можно будет приблизиться вплотную, хотя это, конечно, риск: вдруг торос опрокинется? Было бы уже чересчур в их положении... Но с одним веслом не удалось подойти к торосу и здесь.

Теперь оставался только дрейф. И постоянный страх, беспокойство, как бы лодку не затопило, не опрокинуло. Всю ночь не сомкнули глаз.

Утром на море жутко было смотреть. Волны ходили горбато-увалистые, зловеще-недобрые, каждая из них способна была, чуть зазевайся, смять «Казанку» в лепешку. И ни одной льдины поблизости! Будто не Ледовитый океан... Льдины еще хоть как-то веселили бы глаз, вселяя надежду на возможность опоры, на совместный и потому более надежный для бедствующих дрейф.

Где-то на исходе суток дрейфа показалось поблизости судно, но, несмотря на все их сигналы (выстрелы, трескучее пламя фальшфейера), оно прошло мимо. К счастью, в это время охотники уже видели землю и старались править к ней, даже если это был не Айон, а берег материка. Пусть пустынный берег, пусть. Но хоть одно на тридцать — сорок километров, а попадется же какое-нибудь жилье, охотничья хибара?! Главное, земля, суша, твердь, ничего желанней для них теперь не было и быть не могло.

Вскоре стало различимо и некое строеньице, то была промысловая база известного на Айоне охотника Михаила Вутыльхина.

Он уже давно стоял на берегу, поджидая их.

Потом долго ахал и удивлялся: откуда, мол, и кто такие?!

Всякого повидал Вутыльхин на этом берегу (лет ему уже где-то под пятьдесят набежало), но такого... Покачал головой и сказал, медленно подбирая слова:

— Еще никто здесь в такую погоду не приходил живым с моря. Приносило только трупы.

— А трупы все же приносило? — спросил Горячев, радуясь тому, что не про него это сказ, что он-то жив, жив!

— Всяко бывало, — ответил чукча.

Дня три просидели в доме Вутыльхина, немного отогрелись и успокоились, мотор «Вихрь» перебрали по винтику, привели в порядок лодку, весло смастерили. Но тут начались пурги, так что ни о каком возвращении домой на «Казанке» не могло быть и речи. Пришлось мотор законсервировать, надежно упаковать до возвращения прочее имущество и идти в село, а там телеграф, телефон, радио!

Первым делом Горячев как раз и позвонил. Услышав его, директор совхоза пораженно воскликнул:

— Горячев?! Живой?! А мы тут вертолет собираемся посылать на розыски.

— Долго собираетесь, — упрекнул Горячев.

— Дак ведь штормит все дни, никакой видимости!

«Притом и копеечка немалая за вертолет причтется», — подумал Горячев, но ничего такого говорить не стал, потому что был уверен: раз дело коснулось человека, жизни людей, не пожалели бы в совхозе и копеечку, не может того быть.

— Ладно, скоро дома будем, ждите, — сказал Горячев, чувствуя теперь уже полное облегчение, что-то вроде такой безграничной раскрепощенности и безмятежности, на грани эйфории, что и словами не выразить. Теперь и в совхозе успокоились, раз они живы...

Горячев убежден: спаслись они только потому, что не заспорили, не засуетились, не запаниковали, не стали друг друга упрекать — ты, мол, в том виноват, а ты — в этом, ты, мол, такой, а ты — этакий, — а действовали согласованно, выискивали всякий раз решения, наиболее разумные в сложившейся обстановке.

Айон стал воистину их Островом Спасения.

А дальше было так: год или два спустя Вутыльхин наведался на собачках в гости к Горячеву. Ответный, так сказать, нанес визит. Горячев по старой благодарной памяти подарил ему авиаторский спасательный жилет. В разгаре была весна. Возвращаясь, уже недалеко от своего дома Вутыльхин выехал на непрочный ноздреватый лед, разъеденный за последние дни водами речки Рывеем. Нарта провалилась, и Вутыльхин утонул. Запутавшись в упряжи, не выплыли и собаки. Нарту потом нашли. Сверху был привязан спасательный жилет, которым чукча так и не успел, не смог воспользоваться или даже не придал ему значения. Какая насмешка судьбы, какая отвратительная гримаса ее! К собственному дому, «Дому Вутыльхина», помеченному на картах, его тоже вынесло трупом.

В те же дни Горячев решился на окончательный переезд в село Айон, где и живет до сих пор. Так логически замкнулась цепь одного приключения, логически, если смотреть под определенным углом и бесстрастными глазами. В чем-то эта цепь не только не логична, она нелепа, абсурдна, уже не говоря о том, что звенья ее смыкаются в круг неправедный (гибель Вутыльхина). Но о какой праведности или неправедности может идти речь, когда жизнь человека ничто, лишь жалкий полет мотылька по сравнению с такой нерассуждающей знобкостылой бесконечностью, диктатом безжалостного льда, как северный наш океан?!

Но «мотыльки» между тем летают и летают. Даже в космосе, где и вовсе трудно воспринимаемы обычным умом масштабы и измерения, категории отсчета.

ЭКОНОМИСТ ГОРЯЧЕВ ЧИТАЕТ «ИГРУ В БИСЕР»

Начало августа. Что ни день — туман. Пора мне отсюда улетать. Но как?

Изредка захожу в контору совхоза перекинуться с Виталием Сергеевичем новостями и впечатлениями. Потому что кое-какие впечатления все же накапливаются. Даже в тумане. Туман туманом, а жизнь идет своим чередом.

Однажды вечерком бродил с Горячевым по берегу. Ему ничего, привычно, я же слегка мерз. Но слушать Горячева поучительно. С уважением отзывался о некоей сверхудачливой охотнице-чукчанке Вере Якиной, у которой отец был шаман, но добрый шаман, так называемый Шаман-Солнце (мне знаком этот тип шамана не по жизни, а по литературе, о чем еще будет повод сказать). Про отца Веры Якиной говорили чудеса. Пулю рукой ловил. Шхуну на расстоянии останавливал. А скажет ей — иди! — она и трогалась себе. Всё в таком роде...

— Вы что же, верите в это? — не скрыл я недоумения.

— Сам я этого шамана не застал в живых, — уклонился от прямого ответа Горячев. — Шхуна, конечно, могла случайно остановиться, лечь в дрейф по своим надобностям. Так же, как и дальше пойти. Не в шхуне дело. И не в пуле. Это уже легенды. Но силой некой он обладал безусловно. Гипнотической. Телепатической. Это без спору, но, прошу прощения, в таких вещах я не специалист.

— Но вы-то как здесь, на Севере, очутились?

И как прижились? Ведь двенадцать лет — не два годочка!

Горячев посмотрел куда-то вдоль берега, на желтый песок лайды, изборожденный следами машин и вездеходов.

— Я ведь в Суворовском учился. Там, кстати, общая подготовка дается солидная. Только я почувствовал, что военная служба в конце концов не для меня. Служить куда пошлют. Субординация. Все такое. Ну и... незадолго до окончания училища ушел. Потом закончил вечернюю школу. В вуз поступал неудачно, какой-то там балл или полбалла недобрал.

На него не похоже. Но конкурс — отчасти та же лотерея. Одному больше повезет, другому меньше, третий и вовсе вне конкурса пройдет. Горячеву не повезло.

И тут он увидел однажды на афишной тумбе объявление о приеме на годичные курсы полярных работников. Всего лишь год — и ты уже где-нибудь на Диксоне или даже на Новой Земле! Заманчиво. Одним заходом можно было решить многие проблемы, предопределить весь дальнейший жизненный путь. Главное, что быстро. Год — и ты на коне! Самостоятельный человек, работник полярной станции. Радист. Метеоролог. Гидролог. Словом, и специалист, и личность — в ореоле северных сияний. Что-то от Джека Лондона, от Брет Гарта... Сколько пишут, говорят, такая романтика, и вот она сама идет в руки!

Звучит вроде иронично, не исключено, что и сам Горячев относился к своему решению слегка иронично, а впрочем совсем юн еще был, не испорчен скепсисом, романтику воспринимал именно как романтику, не отягощенную ничем бытовым, побочным, опошляющим ее. Позже, из-

рядно умудренный житейским, в том числе и полярным, опытом, он выпестует некий философский взгляд, из которого следует, что в общем-то каждому из нас необходимо хоть раз в жизни разорвать логическое кольцо, в которое ты «вписан» изначально, от рождения, сообразно происхождению, образованию, воспитанию, привязанностям, и пойти пусть даже во имя самопознания, самопроверки в одну из сторон на выходе из этого разрыва.

Таким образом, ровно через год Горячев оказался на полярной станции Валькарнай в должности гидрометеоролога-радиста, начальником здесь был Виктор Степанович Брусов — старый полярный волк, вся жизнь на «полярках» прошла — и у него было чему поучиться. В том числе и навыкам охоты на зверя. А время для того, чтобы заниматься охотой, здесь можно было выкроить. И вот как раз охота увлекла Горячева фатально.

Настолько увлекла, что спустя еще некоторое время он стал помышлять о собственном промысловом участке и жизни в уединении. Чтобы только любимое занятие, ну, еще книги — и ничего больше.

Отлично, скажет читатель, но ведь мы знаем Горячева как экономиста. Значит, и в занятиях охотой не нашел себя?

Точно такой же вопрос вынужден был задать ему и я.

— Видите ли, одно время я никак не мог понять, почему за ту или иную операцию в обработке ли песцовой шкурки, в заготовке ли привады мне платят именно тридцать четыре копейки, а не сорок одну... Цифры условные, конечно. Но это уже более поздние сомнения, — отмахнулся он. — Первотолчок был раньше. Когда я надумал

переходить в совхоз «Большевик» охотником, мне, понятно, жилья приличного не дали. Был у них запущенный, без окон и дверей, огромный охотничий дом — вот, мол, если доведешь до ума, то и живи в нем. Если какой ремонт затеешь, ну, мы оплатим в допустимых пределах. Гм... Втайне надеялись, что отступлюсь, не осилю, — там же и стены нужно было вторые ставить, и крышу латать, и с окнами что-то мудрить. Но я взял эту развалюху и соорудил из нее вполне приличное жилище. Хорошо утеплил. Ну, а для начала нужно было освободить дом от забившего его до потолка слежавшегося снега. Проработал я, помню, не разгибая спины, не смахивая пота, тридцать шесть часов почти кряду, а расценили мне эту, можно сказать, титаническую работу что-то по рублю с копейками за день. Где-то, значит, около пятерки вышло. Я когда увидел эти расценки, едва на ногах устоял. Как так? Почему? А вот расценка, ничего больше не могу для вас сделать, — отвечает женщина-экономист. Боюсь, что она вообще о снеге как о природном явлении имела самое общее представление. Ну, мягкий, ну, пушистый, холодный, на щеках тает! А ведь снег бывает плотный как лед, и в том, что я выгребал, плотность не меньше как ноль пятьдесят пять, это же чукотский лежалый снег! А она-то за рыхлый мне расценила, за пушистый, черт побери! Разве есть плотный? — спрашивает.

Горячев набрал у нее ворох разных расценочных талмудов, дня два в них копался и нашел-таки расценку на плотный снег.

И вот непонимание той или другой расценки и задело Горячева: должен же он уразуметь, дойти до причинных истоков, до двигающих ее пружин... «Во всем дойти до самой сути», по-прежнему продолжая заниматься охотой,

он поступил на заочное отделение Благовещенского сельскохозяйственного института и успешно (диплом с отличием) окончил его экономический факультет. Мало того, ему дали направление в аспирантуру.

К тому времени он уже перебрался на остров Айон. Подозреваю, что здесь была замешана женщина, — не обошлось, вероятно, без Валентины Митрофановны. Ведь ничего такого в смысле выгодной работы здесь Горячеву не обещали. Тем более по какой-нибудь из его специальностей... Но он был убежден — и не без оснований, конечно, — что современный человек со средним образованием в принципе способен успешно освоить любую специальность. Таким образом, на Айоне Горячев работал поначалу электриком, потом, как он выразился, «слез со столба и сел за стол» — не было в сельсовете бухгалтера, пошел бухгалтером, потом стал бухгалтером совхоза, а сейчас — главный экономист. Все, как он считает, «по науке».

Короче, до аспирантуры дело не дошло. Но, в конце концов, быть главным экономистом в таком совхозе — разве это не почетно? Совхоз один из лучших в области, с перспективой роста, а ныне — с перспективой выполнения пятилетки в четыре года.

«Громадье планов» совхоза, к которым как экономист Горячев имеет самое непосредственное отношение, не может не занимать его мыслей. А главное в совхозе — оленеводство. Вот о нем и беспокойство, о нем и выводы, быть может не лишенные спорности, но безусловно не лишенные и рационального зерна.

В обозримом будущем, считает Горячев, добиться увеличения выхода продукции оленеводства едва ли возможно, если коренным образом

не изменить технологию производства. Не секрет, что в тундре жить трудно, особенно зимой, в кочевках, когда пурги да морозы. Охотников идти в пастухи, вести такую жизнь, мало. Молодой чукча уже с детства, с пеленок привыкает к другим условиям, и здесь единичные тяжелые яранги положения не меняют. Назрела необходимость переходить на содержание оленей в изгородях, когда вместо положенных на одну-две бригады двенадцати пастухов достаточно будет двух... Одновременно возникнет проблема: куда девать освобождающихся людей, к какому делу их пристроить? Но рабочих рук потребует заготовка кормов для тех же оленей, охота, рыболовство... (Правда, чтобы добиться рентабельности рыболовства в здешних местах, потребуется тоже какая-никакая техническая оснащенность, признает Горячев. Да и много ли той рыбы, на которую он рассчитывает? Времена-то не дедовские.

Сейчас же, считает Горячев, каждой бригаде как минимум необходим вездеход с водителем-бригадиром, но с условием замены машины по истечении десяти месяцев для капитального ремонта.

Сколько я ни вникал в рассуждении Етылена, и Задунаевского, и вот еще Горячева, я ни у кого из них не уловил беспокойства о том, что само по себе оснащение оленеводческих бригад такой громоздкой «всераздирающей» техникой рано или поздно станет гибельным для тундры, для тех же оленьих пастбищ. Если иметь в виду, что достаточно вездеходов и по разным другим надобностям утюжит и корежит чахлую, легкоранимую арктическую тундру. То есть, решая одну проблему, мы частенько как бы не замечаем, что попутно возникает другая, в чем-то исключающая первую.

Главное же здесь то, что люди думают, ищут, стараются подойти к вопросам хозяйственного освоения Арктики с позиций научных и здравых. Вот почему мне поучительно слушать предельно логичного, педантично последовательного в своих рассуждениях Горячева. Нет у него лишних слов, иногда, правда, проблеснет в речи метафора, образное определение сути явления, но не часто, скорее случайно, — все-таки это речь экономиста...

— Послушайте, — не утерпел в конце концов я, — а художественной литературой вы как, не очень?.. Неужели вы такой сухарь, технократ, что ли?.. Для своего сугубо личного неужели нет отдушины?

— Почему вы считаете, что книги, которым я отдаю предпочтение, они не для «сугубо личного»? — с усмешкой, но и не без легкой досады ответил вопросом на вопрос Горячев.

— Понимаете, мне представляется, что внутренняя организация у вас такая, при которой без романа, без умной тонкой книги вам просто не обойтись.

— Без «умной тонкой» я, бывает, и не обхожусь. Вопрос в том, какую вы считаете «умной, тонкой», а какую я...

— Скажите тогда, если не секрет, что вы прочли хотя бы в этом году, за последнее время?

— Знаете, я все-таки мало читаю-почитаю беллетристику. За редкими исключениями. В последнее время, если угодно, я прочитал несколько книг. Ну, если о потребностях сугубо личных... то две книги: «Сумма технологии» Лема и «Игра в бисер» Германа Гессе.

Больше с такими разговорами я к Горячеву не подступался. Потому что, к стыду моему, из названных им книг я читал только «Игру в би-

сер» Гессе, о «Сумме технологии» что-то вскользь слышал, но до сих пор не удосужился взять и прочесть. Что касается «Игры в бисер», книга сия чрезвычайно сложна для восприятия, читать ее трудно, и моей душе дала она, пожалуй, куда меньше, чем душе экономиста Горячева. Хотя и речь-то в романе, скорее философском, чем развлекательно-художественном (да позволено мне будет употребить этот не весьма научный термин), идет о материях, весьма далеких от экономики. И даже меньше всего о пресловутой «игре в бисер».

Словом, этот последний диалог с Горячевым окончился явно не в мою пользу. О чем я не могу не сожалеть, ибо негоже литератору сдавать свои позиции хотя бы в вопросах литературы.

Виталий Сергеевич всячески уговаривал меня побывать на Шелагском мысу, заглянуть на полярную станцию, познакомиться со старыми охотниками-чукчами. Есть среди них достойные, они могут кое-что порассказать, если найдут нужным. Вот, в частности, живет там Эттувги-Танле, он ведь еще с Наумом Пугачевым общался, хорошо его помнит.

Наум Пугачев — фигура для Чаун-Чукотки легендарная. Здесь сейчас почти не встретишь людей, помнивших этого человека. Жаль, что мне так и не довелось побывать на Шелагском мысу, поговорить с Эттувги-Танле, прочувствовать в полной мере атмосферу этого самого северного берега в Восточно-Сибирском море. Не успел я, не управился, погода во многом помешала, а в чем-то и собственная нерасторопность, медлительность. И поныне жалею об этом.

Жалею еще и потому, что о Науме Пугачеве мне так или иначе писать, эту фигуру, в полном смысле историческую, никак не обойти без риска серьезно обеднить книгу.

Как раз о людях, исторически определившихся и так или иначе коснувшихся своими деяниями Чаун-Чукотки, а то и связавших с ней лучшую пору своей жизни, отдавших ей талант свой и силы, я и попытаюсь рассказать в следующей части книги.

БЫЛИ ЧАУНСКОЙ ГУБЫ

НЕИСТОВЫЙ НИКИТА ШАЛАУРОВ

О Никите Шалаурове написано хотя и немало, но вразброс, вскользь. В его биографии, необычной по числу бедствий и приключений, в конечном счете трагической, встречаются и неточности, разночтения. Больше, впрочем, тогда, когда она еще не касалась Чаун-Чукотки, когда ее вехи были расставлены где-то по другим путям и перепутьям. Но звездный час и горькая кончина — все это пришлось на Чаун-Чукотку, так или иначе связано с берегами Чаунской губы, с побережьем Ледовитого океана.

Имя Шалаурова, его подвиг отмечены в четырехтомной «Истории открытия и освоения Северного морского пути» проф. М. И. Белова. О нем писали такие крупные полярные исследователи, как академик В. Ю. Визе, Н. Н. Зубов, писатель-историограф Сергей Марков, попада-

ло его имя и на страницы беллетристики (повесть И. Калашникова «Изгнанники». Спб., 1834), пристально присматривался к нему хорошо знавший Чукотку Олег Куваев. Попытаюсь и я набросать беглый очерк его деятельности, его неистовой увлеченности делом первооткрытий земель неведомых и студеных.

Впервые в научной литературе имя Никиты Шалаурова встречается в связи с путешествием, предпринятым купцами С. Новиковым, И. Баховым и подпрапорщиком анадырской команды геодезистом Тимофеем Переваловым из реки Анадырь на Камчатку. В этой экспедиции главенствующую роль играл Бахов, который и докладывал по начальству, что одержим рачительным желанием «о проведывании из Анадыря реки морской коммуникации в Камчатку». Экспедиция была снаряжена с целью поисков более удобного пути для переброски провианта из Охотска в Анадырь, так как путь по суше был и более убыточен, и опасен из-за частых нападений «немирных чукоч» на продовольственные караваны. Как писали сами купцы, решили они «проведать из р. Анадыра северо-восточный путь, прежде небывалый, выключая бывшую из Якутска партикулярных судов, тогдашних кочей, езду, от которой здешние края с немалым числом народа нашлись и о чем за нелюбопытством, хотя и невеликая древность, едва память ныне».

Вообще-то всей компанией заправлял, владел основным в ней капиталом сольвычегодский купец Жилкин, в плавании не участвовавший. По-видимому, и роль Никиты Павловича Шалаурова в этой экспедиции еще была незначительна, как компаньон он почти нигде не упоминается, кроме, пожалуй, работ двух историков (Сгибнева и Оглоблина). Да и после этого плавания

его фамилия добрых десять лет нигде в документах не всплывала. Факт лишь, что плавания, прославившие его впоследствии, он совершил совместно с тем же И. Баховым. Но о них еще речь впереди.

Итак, судно «Перкуп и Зант», построенное компаньонами на реке Анадырь, вышло в 1748 году проведывать путь «в Камчатку». «Долго носились в море неведомо», пока наконец не прибило, но — все же на Командорские острова, точнее к острову Беринга, слава о пушных богатствах которого не давала покоя многим предприимчивым и лихим головушкам. Оставив 15 сентября судно почти без присмотра на якоре, команда увлеклась промыслом морских бобров и песцов. Между тем серьезно заштормило (что, впрочем, можно было предвидеть), «Перкун и Зант» был сорван с якоря и разбит в щепу о скалы.

Волей-неволей пришлось зазимовать и подумать на досуге о спасении. К счастью, перед бедствующими был такой убедительный и обнадеживающий пример, как зимовка здесь же лет семь назад экспедиции Беринга, тоже потерпевшей крушение. Известно также было, что беринговцы из остатков своего корабля построили вместительный гукер и на нем благополучно добрались до Камчатки. Обломки знаменитого пакетбота «Св. Петр» на этот раз выручили уже баховцев: именно из них да еще из выкидного леса было построено новое суденышко «Капитон».

Как часто водилось в те времена, в экспедиции согласия не было. Поэтому строили судно «в пяти человеках», в число которых входили и Бахов с Шалауровым. Может, общая эта забота и сдружила их в ту пору. Остальные же члены команды занимались кто чем.

В течение следующего лета 1749 года баховцы совершили небольшое плавание к северо-востоку «ко взысканию неведомой земли», но ненадежность судна вскоре заставила их возвратиться сначала к острову Медному, а затем и в Большерецк-на-Камчатке. Но все же предыдущим летом, еще по пути на Командоры, ими была открыта некая земля и положена на карту Переваловым («По малому смыслу последний от человек подпрапорной...»), как можно предполагать, остров Св. Матвея, честь открытия которого обычно приписывается плававшему в этих краях гораздо позже лейтенанту Ивану Синдту.

В то время охотская канцелярия не воспользовалась маршрутом для перевозок в Анадырь продовольствия, предложенным Баховым и Новиковым, посчитав его тоже ненадежным, и посоветовала разведать другой путь. К тому же стало известно, что «Капитон» построен из остатков пакетбота «Св. Петр». Бахову велено было сдать его, поскольку на эту постройку использовался казенный материал. Самолюбивый Бахов от навязываемого ему плавания отказался, а судно сдал. Лишь семь лет спустя не участвовавший в этом плавании И. Жилкин сумел доказать свои права на судно, и «в вознаграждение за претерпенные им убытки» оно было купцу возвращено. Впоследствии на долю этого суденышка и его команды выпали воистину кошмарные бедствия, но к героям нашего рассказа они отношения уже не имеют[1].

Лет восемь или девять спустя предпринима-

[1] Об этих бедствиях рассказал историк В. Берх в «Хронологической истории открытия Алеутских островов». Спб., 1823.

тельская судьбина свела Ивана Бахова[1] и Никиту Шалаурова довольно далеко от Камчатки, на реке Лене. Даже не в устье, а гораздо выше, где ими было заложено судно «шлюпочного манира», впрочем, полностью на средства Шалаурова. Назвали судно символически — «Вера, Надежда, Любовь».

Намечалось, как видно, давно задуманное плавание. И власти, как иркутские, так и петербургские, хоть и не сразу, пошли предпринимателям навстречу, ибо, как писал иркутский вице-губернатор Вульф, «удобнее без убытку казенного, если сами купцы и промышленники отдаленные места, как Камчатка, и иные неизвестные прежде места сами будут сыскивать». Действительно — проще! И дешевле для казны. А необходимость в давно уже «сыскиваемом» пути из Лены вокруг Чукотского носа на Камчатку была велика. Надо полагать, были и некие личные планы и расчеты у зачинателей этого вояжа. Врангель считает, что Шалауров, например, стремился к славе первооткрывателя Северо-Во-

---

[1] К сожалению, историки не пришли к единому мнению относительно имени Бахова. В дореволюционном «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара Бахов назван Афанасием, так же как и в «Перечне путешествий русских промышленных в Восточном океане» А. Полонского. Не идет ли речь вообще о разных людях: одном Бахове времен Анадыря — Камчатки — Охотска и другом — времен плаваний по Лене и Чаунской губе? Ведь и разрыв во времени здесь весьма существенный...

Можно предположить и родство: на Восток, в дальние края, на долгую и опасную промысловую жизнь надежнее было добираться вдвоем, втроем, скажем, брату с братом, отцу с сыновьями... Таких примеров сколько угодно. Мы знаем двух Басовых, двух Кульковых, нескольких Поповых, Холодиловых, Шелиховых. А уж об однофамильцах и говорить нечего. Потому-то сейчас не всегда и разберешься. По крайней мере, нужно хотя бы держать в уме это обстоятельство.

сточного прохода. Есть и другие мнения, вплоть до того (В. Берх), что Шалауров собирался промышлять мамонтовую кость на Новосибирских островах. Это неверно хотя бы уже потому, что в те годы о наличии мамонтовой кости на Новосибирских островах еще не догадывались, она была обнаружена якутским купцом Ляховым (на островах его имени) лишь в 1770 году. Между тем существует документ — ордер иркутской канцелярии, выданный мореходам перед началом их плавания, исключающий разнотолки. В нем сказано: «На построенном им, Баховым, с товарищем ево устюжским купцом Никитой Шалауровым на Лене-реке (судне) плыть... вокруг Чукоцкого носу до Камчатки и прочих тамошних мест для размножения к прирощению и пользе государственного интереса Российского мореплавания и соискания новых незнаемых до сего островов и земель и для промыслу на оных всяких зверей и птиц».

Значит, подразумевался государственный интерес, не исключая и частной выгоды. Предприятие затевалось нешуточное, его поддержал сенат, машина завертелась, и в конце лета 1757 года «Вера, Надежда, Любовь», спускаясь вниз по Лене, достигла реки Вилюй. Здесь пришлось зазимовать, зимовка была тяжелой, экипаж из 73 матросов и «работных людей» нужно было накормить, одеть и обуть, запасы грозили иссякнуть... и это в самом начале грандиозного для судна «шлюпочного маниру» плавания! И вот тут-то Шалауров впервые показал свой неукротимый характер: он пошел в Якутск за продовольствием и снаряжением пешком, более полутысячи верст, но экспедицию свою обеспечил всем необходимым, да еще довольно много привел и вновь нанятых людей.

Летом следующего года Шалауров почти не продвинулся сколько-нибудь ниже по Лене из-за стычек и неурядиц с Баховым и нежелания его плыть дальше. Бахов ссылался на ненадежность экипажа. Отчасти он, возможно, и был прав: народ в экспедицию шел большей частью разношерстный.

Так ли, нет ли, но «Вера. Надежда. Любовь» остановилось на зимовку у Быковского мыса. Эта зимовка отличалась от предшествовавшей прежде всего организационной тактикой: людей Шалауров отправил временно «на прокорм» в Якутск, сам же намеревался выйти на реку Оленек, чтобы запастись там для всей экспедиции свежей олениной. Но, как водится, беда одна не ходит — ему пришлось возвратиться назад из-за возникшего на судне по чьей-то вине или прямому умыслу пожара. «Вера, Надежда, Любовь» основательно пострадала от огня, ее предстояло теперь чинить и латать.

Лишь 12 августа 1759 года, спустя два года после начала экспедиции, судно вышло в море и достигло устья Яны. Но уже 5 сентября вынуждено было остановиться неподалеку от мыса Чокурдах, где были построены на берегу казармы для зимовки, уже третьей по счету. Это была огорчительная неудача, чуть не провал всей затеи, всего задуманного предприятия. К тому же постоянный недостаток продовольствия, тяготы пути настроили против Шалаурова часть «работных людей». С ними заодно был и Бахов, в недавнем прошлом организатор экспедиции. Теперь он вообще отказывался в ней участвовать.

Надвигалась еще одна трудная зима. В такой обстановке нечего было и верить, что она пройдет безбедно. Не надеялся на это и Шалауров и

уже в ноябре с ватагой преданных ему людей поехал на нартах в Нижнеколымск. Там стоял на приколе тоже требовавший ремонта бот «Иркутск», некогда оставленный Д. Я. Лаптевым. Был расчет с началом весны продолжить плавание именно на нем, так как фактически сенат в свое время распорядился передать его в ведение экспедиции. Но починить этот бот местные власти Шалаурову не позволили, да и вообще отказались отдавать его. Дошло до того, Шалаурова даже избили. Ничего теперь не оставалось иного, как возвратиться на Яну. Здесь его ждал очередной удар: Бахов уехал еще по зимнему пути, оставив без присмотра судно и людей. Есть сведения, что он был болен. И вообще, чтобы не винить его решительно во всех неурядицах и бедах, преследовавших экспедицию, нужно сказать, что мы имеем возможность учитывать лишь донесения Шалаурова (пристрастные донесения!), так как другими свидетельствами наука на сей день не располагает. Шалауров поэтому предстает перед потомками в более выгодном освещении, мы должны подчеркнуть это хотя бы исторической объективности ради.

Многие уехали с Баховым. На судне осталось только семнадцать матросов. Вышло все продовольствие.

Казалось, это конец. Но Шалауров, теперь уже единоначальный глава экспедиции, не согнулся, не пал под ударами судьбы, нет. Было в этом человеке что-то одержимое, яростное, некая неистовая горела в нем вера в свою звезду. И судно ведь называлось «Вера...», прежде всего вера! В диких этих местах он еще раз приступил к набору людей в плавание. Теперь он уже требует от каждого расписки-обязательства идти с ним до конца и до конца подчиняться. Жизнь еще

более осложнилась: теперь он не только руководил экспедицией, но и управлял кораблем. Да к тому же обязался перед сенатом составлять и «описание морского вояжа», и навигационные книги, и карты, и «исчисление и описание и примечание, хотя и не противно ученых людей» вести.

Наступило между тем уже лето 1761 года, в течение которого «Вера, Надежда, Любовь» с переменным успехом вела борьбу с дрейфующими льдами, вплоть до того, что иногда их приходилось расталкивать шестами. Лишь 16 сентября удалось выйти на чистую воду — и тут уж судно доказало, что с помощью стихий и оно чего-то может стоить: всего за одни сутки прошло устья рек Хромы, Индигирки и Алазеи. Однако для того, чтобы продолжать в этих широтах намеченное плавание, время было позднее. Наученный горьким опытом, Шалауров загодя подумывал о зимовке. С этой целью он ввел судно в Колыму, его надежно закрепили на банках и позаботились об охране. Места здесь были сравнительно богатые: бродили олени, хотя преследовать их по глубоким снегам было почти невозможно. В реках водилась крупная и вкусная рыба: омуль, муксун, чир, сиг, нельма. Да и Нижнеколымск был поблизости.

Но это уж на крайний случай, потому что по-прежнему Шалаурову отказывали здесь в помощи, хотя по указу сената должны были помогать продовольствием, делом и советом. Возможно, не умел вовсе ожесточившийся Шалауров разговаривать со всем этим служивым людом. Взятки давать не хотел (да и дать-то нечего было!). Требовал свое положенное. Ну, раз так — до бога высоко, до царя далеко — зазвали его однажды в караулку и били «смертьём». К чему, собст-

венно, Шалаурову было уже и не привыкать. Но от своего не отступался: хлеб-то нужен! И чтобы заполучить наконец просимые двести пудов хлеба, он дважды через всю Чукотку ездит зимой в Анадырск, где проживало более веское начальство — прапорщик Кекеров. Однако и по распоряжению Кекерова в Нижнеколымске Шалаурову выдали только чуть больше половины требуемой муки. К тому же нижнеколымский комендант, казалось бы, дельный мужик, не чуждый проблемам географической науки, корреспондент академика Миллера, толковый администратор прапорщик Тимофей Шмалев всячески препятствовал выходу «Веры...» в море[1], из-за чего было упущено время попутных ветров. Что-то у Шалаурова не заладилось и в отношениях с этим самым Шмалевым. Наконец выйдя, судно простояло до 16 августа у Баранова Камня «за препятствием тихого противного ветра». 19 августа подошли к острову Айон, который как остров издали не воспринимался из-за слишком неприметного пролива и был назван Шалауровым Песчаным мысом. Отойдя к северо-востоку, судно попало в окружение льдов и простояло снова несколько дней: «Яко к стене мятые льдины загустились и сзади наплыли льдов много и судно притеснило».

[1] Ведь когда били Шалаурова «смертьём», к тому руку приложил как раз Шмалев! В. И. Греков в «Очерках из истории географических исследований в 1725—1765 гг.» пытается подвергнуть сомнению этот факт, ибо не таков, мол, Шмалев, человеколюбивый и просвещенный администратор. Не умаляя его заслуг, скажем: «О времена, о нравы!..» Тот же академик Миллер распорядился однажды высечь подчиненного ему студента Степана Крашенинникова — ни много ни мало тоже будущего академика, автора знаменитого труда «Описание земли Камчатки». Хочешь не хочешь, вместе и в Академии наук потом пришлось заседать. Но в друзьях, понятное дело, эти люди не ходили.

Как ни старался Шалауров, а дальше Шелагского мыса на восточном берегу Чаунской губы в плавание 1762 года пройти не смог. Решено было здесь зазимовать, а для этого пошли впритирку к берегу, иногда и высаживаясь на него малыми группами для разведки. По западному берегу бухты ходил не раз и Шалауров. Даже наткнулся на чукотскую юрту, но, завидя людей, ее обитатели убежали в горы.

Подходящего места для зимовки так и не нашли. Уныло и пустынно было вокруг. Никакой отрады для глаз. Хотя и речек хватало, и рыба в них изрядно была. На карте Шалаурова, во всяком случае, нанесены устья четырех рек: Млеловеем, Паляваям, Чауна и Лелювеем. Показаны и берега губы. Таким образом, Шалауров одним из первых посетил Чаунскую губу и первым описал ее, нанес на карту. Сделаны были также промеры глубин, определена соленость этой части Восточно-Сибирского моря.

Скрепя сердце, Шалауров возвратился на Колыму, где и поставил судно в одной из проток. Помощи в Нижнеколымске он опять не получил, — скорее всего, потому, что, несмотря на косвенную поддержку сената, экспедиция Шалаурова все-таки рассматривалась как частная, а не государственная. Тут же, на окраинах огромной страны, и государственным нередко чинились препятствия. Да и потом, все только требовали, снабжали же не очень... а свой хлеб на Колыме, как известно, не произрастал. Словом, Шалауров основательно поиздержался, средств на продолжение плавания у него уже не было, и оставалось уповать только на чью-то помощь. В Нижнеколымске он ее не дождался, значит, нужно ехать в Якутск. Но близко ли Якутск?! И на чем туда добираться? Каких-нибудь оле-

шек или собак Шалаурову тоже не дали — не наша, мол, забота, живи, как знаешь... И тогда отчаявшийся, без полушки в кармане, купец решился на невиданный по тем условиям поступок: идти пешком. Из команды взял он лишь двух человек (по-видимому, добровольцев), впрягся с ними в нарту и поволок ее навстречу невзгодам и лютой стуже. А пути было до Якутска свыше тысячи верст. Ну, пятьсот верст примерно из этих мест до Анадырска он однажды уже одолел, но тогда не он тянул нарту, а тянули ее олешки. Теперь самому пришлось впрячься...

Первого декабря в сильную пургу путешественники пролежали, зарывшись под нартой в снег, и это был едва ли не последний день их жизни: «Платье все обмокло, руки и ноги познобило». Часть вещей пришлось бросить в дороге. Спасло путников лишь то, что на Алазее они нашли в охотничьей юрте свежую оленину. Этот переход длился по меньшей мере месяца три.

Но и в Якутске Шалаурова никто не поддержал, никто ему не обрадовался. Его неистовость и неукротимость отталкивали и пугали степенных чиновников, разжиревших на казенных харчах и поборах. Тогда, продав нарту, распродав все, что только можно еще было из личных вещей, в марте 1763 года Шалауров частью пешком, частью «на присталых лошадях» отправился в Тобольск, где и встретился с бывшим сибирским каторжанином, а ныне губернатором Соймоновым. Соймонова и раньше увлекали перспективы промысла китов и моржей в Чаунской губе (а в донесениях в Анадырь Шалауров уже сообщал об обилии там морского зверя, особенно китов, моржей, белух и нерп). Теперь же, услышав обо всем этом изобилии животных из

уст очевидца, Соймонов без сомнений, с энтузиазмом поддержал его, как и самый проект плавания на Камчатку вокруг Чукотского носа. Он оказал Шалаурову необходимую помощь и настоял, чтобы тот ехал в Москву, куда вскоре собирался и сам. Поддержал он его и в сенате, обрисовав выгоды возможного плавания через пролив, вокруг Чукотки, ведь там и Америка рукой подать, которая «по изобилию зверей, а паче по такой близости, что от Анадырского устья в виду, второю Камчаткою быть может».

Экспедиция приняла, таким образом, государственный характер. Шалауров получил документ от сенатской конторы, который мог впредь оградить его от своеволия местных начальников и самодуров и обязывал их оказывать экспедиции всяческое содействие (в том числе без проволочек выделять из сибирских запасов хлеб и прочее продовольствие).

Здесь следует еще отметить, что Шалауров был, конечно, человеком по-купечески сметливым, понимал будущие выгоды и выгоды, которые можно было извлечь из достигнутого им уже ныне. Скажем, почему не затеяться с устройством частных и государственных китоловных и зверобойных промыслов в Чаунской губе? Он доложил об этом в сенат, и сенат принял, как сказали бы сейчас, конкретное решение. Кроме того, московские власти любопытствовали и чукчами, о которых не так уж много и известно было тогда. По просьбе сената Шалауров представил также свои «Известия о чукотском народе» — документ человека наблюдательного и пытливого к чужим нравам, порядкам и образу жизни.

Соймонов, в то время уже московский сенатор, дал купцу обстоятельные инструкции, особенно подробные во всем, что касалось географи-

ческого описания и промышленного освоения Чаунской губы; кардинальная задача, впрочем, оставалась прежней: идти вдоль берега Чукотского носа «до параллели ширины устья Анадыря реки», попутно обстоятельно осмотрев Аляску.

В конце 1763 года Шалауров в сопровождении сержанта Заева выехал из Москвы, а 17 июля 1764 года «Вера, Надежда, Любовь» вышла в очередное плавание — на сей раз последнее. К тому же накануне плавания сам Шалауров серьезно заболел. Однако выход в море больше нельзя было откладывать, дальнейшее промедление могло сорвать экспедицию этого года, и без того много лет словно бы пробуксовывавшую у одних и тех же берегов. Это плавание завершилось трагически — экспедиция, по существу, исчезла. До сих пор идут споры, при каких обстоятельствах. «Пищик» — картограф Ф. Вертлюгов, весьма искусный в своем деле, разбиравшийся в логарифмах, в тригонометрии, и сержант Заев, по-видимому, сошли с судна незадолго до его выхода из устья Колымы. Они были последними, кто видел Шалаурова, они же и переправили в сенат его рапорт, написанный перед началом плавания.

Словом, было ясно, что «Веру, Надежду, Любовь», скорее всего, «разбило или выкинуло на берег» (увы, «по многим разведываниям точного места не нашлось»).

А «разведывания» действительно были, не раз посылали казаков на поиски пропавшей экспедиции. Именно эти казаки и дали, скорее всего, наиболее правдоподобные сведения о последнем пристанище шалауровцев на реке Веркон (Веркуни, она же, возможно, Куэт или Хиват в верхнем течении), помеченной на современных картах как Пегтымель. Сами казаки до избы, построенной потерпевшими бедствие, впрочем, не

дошли, они только обнаружили, по-видимому, место крушения судна. Но зато встретили и расспросили чукчу, который в 1765 году, всего лишь год или менее спустя, побывал в этой избе. «По приходе увидал в оной, — как сообщили казаки, — человеческие мертвые тела, коих было 40 человек, причем в той же палатке имелось ружей до шестидесяти... копий железных троегранных с зазубринами — 40, и на тех людях платье было из разных портяных и суконных вещей, а на бедрах небольшие ножи... При означенной палатке присмотрел тот чукча множество собачьего костья, признав, что они тех собак употребляли от имеющегося тогда глада в пищу... и тех мертвых людей признавали они, чукчи, российскими, и умерли в тех местах по неимению корму, коего в той палатке нисколько не найдено». Подтверждается это известие и тем, что впоследствии у устья реки Веркон побывали Матюшкин и Врангель (как раз Матюшкин избу-то и нашел в 1823 году). Самому Врангелю позже удалось обнаружить близ нее человеческие черепа и деревянный патронташ.

Между тем историк М. Белов поддерживает версию, основанную на свидетельствах мореходов Г. Сарычева и Й. Биллингса, по которой выходит, что Шалауров далеко даже не обогнул Шелагского мыса (в то время как река Пегтымель протекает гораздо далее к востоку от него) и погиб вместе с командой на западном берегу Чаунской губы. Сарычев и Биллингс тоже ссылаются якобы на рассказы чукчей о найденной в этих местах избе с человеческими костями и предметами утвари. Однако ни один из каких-либо путешественников обнаружения следов экспедиции Шалаурова в указанной местности позже печатно не подтвердил.

Любопытную версию выдвинул в свое время Олег Куваев, которому однажды пришлось идти километров триста вдоль чукотского берега на фанерной шлюпке с шестисильным мотором, правя при этом как раз на мыс Шалаурова изба. В очерке «Странная судьба Никиты Шалаурова», не лишенном, к сожалению, погрешностей и ошибочных утверждений, Куваев тем не менее вполне основательно доказывает, что, поскольку известно будто бы несколько изб и палаточных стоянок, связанных с бедствиями людей Шалаурова, можно предположить, что тот не ожидал голодной смерти в устье реки Пегтымель (Веркон), а, оставляя по пути больных и слабых, упорно пробивался на юго-запад, в обход Чаунской губы, чтобы, преодолев Анюйский хребет, выйти к Нижнеколымску. Оставаться на месте, не имея судна и надежды на помощь из Нижнеколымска, и впрямь было гибельно. Да это и непохоже было бы на Шалаурова. Не такой он был человек. Ведь когда понадобилось, впрягся в нарту — и более тысячи верст тащил ее на себе в Якутск, изнемогая и замерзая. Не мог Шалауров оставаться на месте, видя впереди лишь тоскливую безысходность. А в прошлом — полное крушение всех надежд вместе с гибелью судна «Вера, Надежда, Любовь»! И он включился в последнее героическое предприятие своей жизни — в борьбу за собственную жизнь. Еще раз попытаться переломить судьбу, выжить, спастись — а там еще посмотрим, как дело повернется. С горсткой оставшихся в живых людей он пошел от построенной на берегу (возможно, из остатков собственного суденышка) избы на Пегтымель, оставил там палатку, в которую стреляли чукчи, затем еще одну избу, которую позже видели Матюшкин и Врангель, затем пересек Чаун и вышел на ту речку, где

опять-таки чукчи нашли в избушке, прикрытой парусиной, обглоданные «песцами и горными лисицами» человеческие кости, медные и железные котлы и т. п. Вот только названия этой реки, кажется, никто до сих пор так и не установил, а чукчи называли ее Елкова или Елькан (Алькаквунь)... Возможно, по предположению Куваева, она сейчас называется Ольвегыргываам или Лелювеем, если следовать косвенным указаниям Биллингса.

Что ж, версия Куваева выглядит вполне логично и здраво, так именно и должен был поступить в сложившейся обстановке человек неукротимой энергии и несгибаемого духа, не столько уже купец, сколько первопроходец и географ, даже этнограф, составитель записок о чукчах, человек с аналитическим складом ума (который в своих известиях о чукотском народе сумел разобраться и в социальной структуре, пружинах их жизни, в причинах агрессивности по отношению к соседним племенам юкагиров, ламутов, коряков, вызванной прежде всего алчностью верховенствующих чукотских богатеев, возражал против наведения «порядка» на этой земле «военной рукою» правительственных карательных отрядов).

Но в первую голову терпеливому и длительному подвигу Шалаурова мы обязаны тем, как сказал историк М. Белов, что «Шалауровым и его помощниками были составлены более точные карты берега между устьем Лены и мысом Шелагским, дано первое схематическое изображение (на основе фактических наблюдений) островов Большого Ляховского и Медвежьих, Чаунской губы и ее островов». Между тем хотелось бы уточнить и высказывание Врангеля об одной из карт Шалаурова, что она сделана «с геодезической

верностью, делающей немалую честь сочинителю». Что ж, бесспорно, грамотный человек был Шалауров, голову имел на плечах соображающую, до всего мог дойти своим умом в диапазоне научных географических представлений того времени, но карты чертил все-таки его спутник «пищик» Ф. Вертлюгов. Да Шалауров и сам это свидетельствует в донесении Соймонову от 10 марта 1764 года: Вертлюгову-де «неотменно настоит при описании Чауна и протчих с берегу от Ковымы до губы Шелагской речек, а каким подобием будем описывать, писанные им изустно правила к разсмотрению Вашему Высокопревосходительству прилагаются при сем». Эти правила выдавали высокую геодезическую культуру Ф. Вертлюгова, точное знание им предмета. К сожалению, о самом Вертлюгове почти ничего не известно. Есть предположение, что он некий ссыльный мичман, которого повстречал в Якутске и взял к себе на службу Шалауров. И не ошибся, как видим.

Имя Шалаурова отнюдь не вытиснено золотыми буквами на скрижалях географической науки, хотя оно и не забыто. Между тем его вклад в освоение Арктики, Северного морского пути несомненен и важен. Тем более есть причина подчеркнуть его заслуги, лишний раз заявить о них полным голосом. Помимо того, Шалауров незауряден как личность по неистребимому упорству и волевому настрою, по редкой верности избранной идее, по стойкости и неукротимости, с которыми он претворял ее в жизнь, будучи раз за разом отбрасываемым на исходные рубежи. Эти его качества как бы и не на телесном зиждились, что-то уже надчеловеческое, нечувствительное к ударам в нем было. Тем не менее знал он страдание и боль, знал горькую обиду. Потому-то нас

не может оставить равнодушной даже спустя более двух веков его жизненная драма. Но вызывает она не сострадание, нет, — скорее чувство острого сопереживания, добрую зависть, восхищение и прежде всего веру в беспредельные возможности человека.

«ПАССИВНЫЙ» БИЛЛИНГС И ЕГО СПУТНИКИ

О Биллингсе говорено много, большей частью неутешительного. Но судьями пристрастными и не во всем объективными — его современниками. Некритически им внимая, наши современники иной раз тоже отзываются о нем походя и пренебрежительно. Чтобы хоть как-то разобраться в личности Биллингса и ее роли в истории географических открытий в этой части земного шара, следует начать с первых страниц его биографии, во многом предопределивших и дальнейшую судьбу мореплавателя.

Итак, Иосиф Биллингс родился в Англии в дворянской семье. В свое время был на военной службе, скорее всего на морской. Что, по-видимому, явилось предпосылкой его участия в последней, Третьей, экспедиции Джеймса Кука, которая, пройдя пролив Беринга, обогнула Чукотку и достигла нынешнего Мыса Шмидта.

Намечая экспедицию по дальнейшему изучению земель на Северо-Востоке страны, собиранию всего, «что касается до нравов, разных обычаев, языков, преданий, древностей», а также дальнейшему и более полному исследованию северо-восточного прохода из Тихого океана в Атлантический, Екатерина II была озабочена тем, чтобы найти для руководства ею подходящего

человека, относительно уже знающего Северо-Восток. Такого человека среди русских мореплавателей она, увы, не усматривала. Но вот если бы согласился кто-нибудь из спутников Кука... С этой целью русскому послу в Лондоне графу Воронцову было дано указание вести поиски и переговоры. Воронцов не нашел личности более достойной и заслуживающей доверия, чем некий Биллингс, участвовавший в Третьей экспедиции Кука, по одним сведениям, в качестве всего лишь юнги, по другим — астрономом. Задним числом это назначение на роль начальника столь значительной русско йэкспедиции возмущало историков флота, видных наших морских офицеров. Крузенштерн, например, писал с горечью: «Между офицерами российского флота находились тогда многие, которые, начальствуя, могли бы совершить сию экспедицию с большим успехом и честью, нежели как то совершено сим англичанином. Все, что сделано полезного, принадлежит Сарычеву, толико же искусному, как и трудолюбивому мореходцу. Без его неусыпных трудов в астрономическом определении мест, снятии и описании островов, берегов, проливов, портов и пр. не приобрела бы, может быть, Россия ни одной карты от начальника сей экспедиции».

Как бы то ни было, весьма важная по научным замыслам и дорогостоящая экспедиция была организована, во главе ее поставили Биллингса, а помощниками определили опять же англичанина Галла и молоденького лейтенанта, всего 22 лет от роду, Гаврилу Андреевича Сарычева. И хотя по возрасту и званию из этой троицы он был лицом в экспедиции всего лишь третьим, подчиненным, зато самым деятельным, энергичным, дотошным, исполняющим свои обязанности

не за страх, а за совесть. Безусловная точность составленных им карт достигалась прежде всего тем, что он отказался от рекомендованного инструкцией указания производить опись новых земель и берегов с борта корабля, ибо такая опись могла быть весьма приблизительной, а для мореходов впоследствии и опасной. Особенно в островных архипелагах, среди узостей проливов, в районе рифов и мелководий. Он так говорил об этом: «...чтоб иметь верные карты здешних морей, надобно опись делать, так сказать, ощупью. Для сего нужно производить ее на больших кожаных байдарах или на малых гребных судах, удобных по малому углублению своему безопасно плавать подле самых берегов и могущих находить всегда закрытие себе при крепких ветрах в мелководных речках или заливах».

В научном отношении главенствующее положение Сарычева не вызывает сомнений, и жаль, что я вынужден на этом ограничиться в описании его. С Сарычевым, как говорится, все ясно. Здесь же меня привлекает противоречивая фигура Биллингса, тем более что его деятельность в экспедиции характеризуется и изнурительным путешествием через всю Чукотку.

Но пока события развивались по намеченному плану, Биллингс и Сарычев в Верхнеколымске построили суденышки «Паллас» и «Ясашна» (второе — по имени реки, на которой была осуществлена постройка) и вышли на них из Колымы в море. Однако через месяц, в разгар полярного лета, возвратились — дальше на восток простирались льды.

Историк русского флота Василий Берх сурово осуждал Биллингса: «...вправе ли он был прекратить путешествие 21 июля? Должен ли был так часто становиться на якорь? Почему [illegible] сле-

дывал по одному направлению на север или восток и по каким препятствиям доставил нам только одно наблюдение в то время, когда именовался начальником Географической и Астрономической экспедиции?»

А Екатерина II, раздосадованная медлительностью экспедиции и якобы тем, что Биллингс слишком уж печется — не по делу своему — о притеснениях русскими промышленниками «тамошних народов», даже издала указ о свертывании ее деятельности и «возвращении обратно»[1]. Однако предприятие, имевшее весьма пространную программу, было в самом разгаре и еще не

---

[1] Вряд ли это могло послужить причиной для указа. Сама Екатерина неоднократно предупреждала в своих письмах сибирских губернаторов о «ласковом обхождении» с жителями вновь открытых земель. Что же касается непосредственно Биллингса, то в дневнике ее секретаря А. В. Храповицкого есть следующая запись от 17 марта 1789 года: «Читал донесение Биллингса и описание варварства Шелехова на Американских островах; приказано предложить Совету и замечено, как все за Шелехова старались для доставления ему монополии. Он всех закупил и, буде таким же образом открытия свои продолжать станет, то привезут его скованным».

Еще до этого разговора Екатерина отказала Шелехову в пособии, которое тот просил для развертывания своей предпринимательской деятельности в северной части Тихого океана и установлении монопольного права заниматься там промыслом. Отказ мог диктоваться (да и диктовался) соображениями еще и такого порядка: как раз в то время Россия вступила в войну с Турцией и Швецией. Отчасти донесение Биллингса теперь оправдывало ее решение: мол, кому пособие-то давать!

Между тем Шелехов старался вести по отношению к аборигенам гуманную политику, но зачастую он был просто-напросто не в состоянии уследить за всем своим громоздким хозяйством и людьми, осваивавшими огромные территории новых русских владений. Прежде всего думал он все-таки о выгоде, об усилении могущества создаваемой им компании, впоследствии получившей название Российско-Американской.

давало серьезных оснований с полной уверенностью судить о его неудаче. Да многие современные нам историки и речи не ведут о какой-то неудаче, ибо самой инструкцией, данной экспедиции, было разрешено отступить, если льды и «худая погода» воспрепятствуют продвижению вперед. Разрешено было отступить — с тем, однако, чтобы уже от берегов Камчатки, из Охотска начать следующий этап путешествия, связанный с изучением и освоением берегов Северной Америки.

Для этого в Охотске уже давно были заложены Сарычевым и впоследствии переданы Роберту Галлу для окончания постройкой два корабля: «Слава России» и «Доброе намерение».

Итак, Биллингс и Сарычев возвратились в Охотск и уже 27 августа 1789 года вывели «Славу России» на внешний охотский рейд. С «Добрым намерением» замешкались (похоже на каламбур!) и, дождавшись хорошей погоды только 8 сентября, начали буксировать судно с помощью байдар и ботов. Командовал судном Галл. Внезапно наступил штиль, а потом свежим штормовым ветром «Доброе намерение» понесло к берегу, и, по свидетельству Биллингса, ничто уже не могло уберечь его «от совершенного разрушения», это «было даже свыше сил и искусства человеческого».

Нечего было здесь оставаться, подвергаясь ежедневному риску на открытом всем ветрам рейде, и «Слава России» взяла курс на Камчатку. По пути неожиданно был открыт довольно коварный, с надводными и подводными камнями, остров Св. Ионы.

Перезимовав в Авачинской бухте, в следующем году достигли острова Уналашка. Между тем иркутский губернатор был извещен о том, что в

русских водах у берегов северо-западной Америки шныряет с явно нечистыми намерениями шведский (но снаряженный на средства англичан) капер «Меркурий». Командовал им некто Джозеф Кокс. Насчет захода иностранных судов в русские гавани в этих водах и прежде существовали строгие инструкции правительства («дабы иногда под видом почитаемых доброжелателей России не вкралися другия противного сему названию люди; умалчивая же здесь о англичанах, которые давно уже силятся похищать сокровища не им, но России принадлежащие»). Вот как стоял вопрос. Потому-то и Биллингс получил из Иркутска вполне недвусмысленное указание относительно Кокса: «Надлежит вам расположить себя, дабы нигде капитану Коксу удачи не было, и чтобы надежда, которою он питается в грабительстве, действительно не вмещалась по пределам, России подвластным».

Помимо этой военной задачи, на «Славе России» в то же время были заняты и научными исследованиями, главным образом изучением заливов, гаваней, берегов и рек, а также и образа жизни аборигенов. Опять же главенствующая роль во всем этом принадлежала Сарычеву, но и Биллингс отнюдь не был безразличен к тому, что видел. И если описание алеутов острова Уналашка и других у Сарычева более полное, все же в записках Биллингса мы встречаем подробности, которых у Сарычева нет. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше... То же самое касается и свидетельств об эскимосах.

Осенью «Слава России», испытывая нужду в продовольствии, возвратилась в Петропавловск.

Следующей весной это путешествие повторилось — правда, с предварительным заходом на остров Беринга, где было условлено встретиться

с капитаном Галлом. В зиму накануне он должен был построить на Камчатке судно — взамен разбитого в Охотске «Доброго намерения». Галла, однако, не дождались и пошли к Уналашке. «Положено было между нами, что второе судно поедет к Уналашке, ежели не найдет нас у Берингова острова; ради сея причины, мы ждали на Уналашке — сколько время теперешней годины могло нам позволить; а ныне я оставил первое намерение мое, чтобы обозреть те части американских берегов, которые неизвестны Куку; и вознамерился я осмотреть острова, лежащие на моем пути к губе Св. Лаврентия»,—записал Биллингс.

Следуя этой задаче, он посетил ряд островов и в конце концов вошел на «Славе России» в залив Лаврентия на Чукотке. Здесь он повстречался с ученым чукчей-переводчиком Николаем Дауркиным и казачьим сотником Иваном Кобелевым, которых послал из Охотска на Чукотку еще в 1787 году именно с целью, «чтоб приготовить тамошний народ к принятию нас как друзей». Здесь он и решил осуществить пешее путешествие через всю Чукотку в Нижнеколымск, произведя попутно «вместо морской сухопутную опись», как иронизирует историк Н. Н. Зубов. И ссылается при этом еще и на Василия Берха, который во времена оны отметил с той же иронией, что «г. Биллингс имел гораздо более способностей путешествовать по землям, нежели по морю».

Между тем напрасна вся эта ирония. Как мы видим, плавал Биллингс достаточно (даже не учитывая участия в Третьем плавании Джеймса Кука, которое многого стоит). Да и если бы он боялся моря, не было бы причины в его рапорте графу Чернышеву еще от 3 августа 1786 года с

просьбой разрешить, когда экспедиция благополучно завершится, «обратный путь сделать, обойдя мыс Доброй Надежды, прямо в Кронштадтскую гавань с тем намерением, что оное будет впредь служить для распространения знания и искусства». И не вина Биллингса, что ему этого плавания не разрешили. А ведь для славы России старался, он-то сам в Южном полушарии уже хаживал с Куком! Учитывая все это, возможно, не такая уж и блажь решение Биллингса поразмять ноги на суше. Ведь, глядя на зиму, прогулочка предстояла не из увеселительных. Да еще и по земле непокоренных чукчей, настроенных к разного рода пришельцам чаще всего враждебно. Только из одного этого можно заключить, что Биллингс был не робкого десятка. Чего-то не умел, в чем-то ошибался, где-то проявлял нерешительность или недостаточно ориентировался в обстановке — можно даже допустить, что подобные примеры не единичны. Но все-таки не столь уж был он ленивым и праздным, как принято иногда считать...

Вот и это пешее путешествие... Пожалуй, верно он посчитал, что двух знающих свое дело судоводителей на одном корабле будет многовато, можно и целесообразней определить им задачи. И пускай Сарычев остается на «Славе России», человек он пытливый, старательный и дотошный, все изучит и опишет в лучшем виде, на него вполне можно положиться, а экспедиция между тем в научном смысле только выиграет, если присовокупить к ней еще и поход через всю Северную Чукотку. Не удалось пройти морем — можно ведь и сушей!

Не был он, кстати, и равнодушным регистратором увиденного, когда обследовал на «Славе России» Алеутские острова. С болью сообщал в

одном из своих рапортов о плохих условиях жизни алеутов на острове Уналашка, чему виною самовластье промышленников: «Самых молодых и пригожих женщин разбирают по рукам для своих услуг, не спрашивая, согласны оне на то или нет. Все нужное им для пропитания должно им быть доставлено островитянами, которые часто сами терпят голод, чтобы насытить сих господствующих над ними гостей; главная их пища состоит в кореньях и в ягодах. Самое важное и страшное для сих бедных жителей имя есть передовщик, т. е. старший вожак подобной шайки звериных ловцов». Эти-де «шайки» и между собой дерутся до кровопролития, если на промысле морского зверя где-нибудь в отдаленности столкнутся две конкурирующие артели...

Словом, Биллингс решился на выдающееся по тому времени предприятие, которое, впрочем, ему не по силам было бы осуществить без помощи таких переводчиков и знающих обстановку людей, какими были Дауркин и Кобелев. И научная ценность похода была бы куда меньшей (просто в этом смысле Биллингсу было меньше дано), не окажись с ним рядом естествоиспытателя доктора Карла Мерка. Этнографические материалы из его дневника лишь недавно опубликованы в переводе на русский язык. Карл Мерк, выходец из Германии (его дядя писатель, известен своей дружбой с Гете), был приглашен на государственную службу в Россию и получил место врача в Иркутском госпитале. В экспедиции Биллингса оказался вполне для себя неожиданно: заболел штатный ее натуралист. Предложение Биллингса было весьма заманчивым, хотя Мерк и предупредил честно, что не является специалистом в области натуральной истории. Ждать было некогда, и Биллингс отмахнулся:

вот вам инструкции Палласа, касающиеся сбора ботанических, зоологических и этнографических коллекций — и поехали. Таким образом, на протяжении нескольких лет Мерк был постоянным спутником Биллингса и оставил весьма любопытные записки об алеутах, а также и о пешем походе через Чукотку, в котором тоже принимал участие. Они, безусловно, более ценны, нежели записки самого Биллингса, уже не говоря о его секретаре Мартине Зауере (Соур). Зауер хоть и написал книгу, но вполне на свой лад, этнографические сведения в ней вроде виньеток, которыми прикрыто острие — острие, недвусмысленно направленное против Биллингса.

Как ни странно, начальник экспедиции и его секретарь явно не испытывали друг к другу симпатии. В книге Зауера оценки деятельности начальника экспедиции подчас весьма язвительны. «По всей видимости, дух Кука не витал над его давним спутником», — иронизирует он, явно намекая на то, что мореход из Биллингса никудышный. И заявляет в другом месте: «До сего времени господин Биллингс с упрямой самоуверенностью отклонял предложения капитана Сарычева и суждения всех других офицеров, отважившихся высказать собственное мнение».

Возможно, возможно. Но вот что удивительно: сам Сарычев в написанной позже книге об этой экспедиции (в которой он использовал и материалы Биллингса) ни в чем серьезно не погрешил против своего начальника. А мог бы. В чины со временем и сам вошел немалые, вплоть до адмирала русского флота. Но размолвки между ними, если они и случались, принципиального характера не носили.

В заслугу Зауеру можно, впрочем, поставить то, что сочинение его написано живо и, если не

имеет большой научной ценности, не лишено ценности художественной, как определенный очерковый документ очевидца события, участника известной экспедиции. Не забудем, однако, что экспедиция была строго секретной. И по возвращении из нее всем ее членам, кто вел записки, наблюдения, ведал сбором материалов разного познавательного характера, рисованием карт, надлежало сдать все это в одни руки. Не подчинился этому требованию только Зауер, а у него кое-что поднакопилось из секретных материалов, как секретарь, он хранил дневники офицеров, знал же он и того больше. С этими скопированными документами и записками он, в прошлом английский торговый служащий, пытался бежать за границу. Даже притворился больным, чтобы получить официальную отставку. А уж за границей нашел бы тех, кому дороги были бы сведения о русских исследованиях на Северо-Востоке России, в ее американских владениях.

Но, видимо, очень хорошо изучил своего секретаря Биллингс, потому и заподозрил в его поведении неладное, какую-то скрытую каверзу. Не мешкая, он сообщил о своих подозрениях в Адмиралтейств-коллегию: «Как оные (дневники. — *Л. П.*) сие время оставались у него, Зауера, то я мню, не были ли они им употреблены к каким-либо тайным запискам, и не есть ли сие причиною прошения об его увольнении, дабы на свободе тогда мог оные употребить на свои выгоды? И поелику он, Зауер, испрашивает увольнение в такое время, когда экспедиция еще не решена, подает мне тем повод мыслить, как он, будучи моим письмоводителем и имея в своем ведении мои журналы, которые он мог тайно списывать, равно как и вести свои собственные

записки, не намерен ли он открыть оные в свет изданием в печать, прежде нежели сие благоугодно будет ея императорскому величеству? В таком случае могу я на себя навлечь подозрения, якобы я был соучастником сему его намерению».

Что ж, резонно. И без того на Биллингса достаточно собак вешали, могли бы повесить еще и эту.

Адмиралтейств-коллегия поручила произвести обыск на квартире Зауера именно Биллингсу. Но не было найдено ничего, кроме кое-каких черновиков. Зауера спросили, вел ли он еще какие-либо записки, и тот не стал уклоняться от прямого ответа, так как знал, что уж кому-кому, а Биллингсу ведомо, чем он занимался: Да, записки у него были, но он их... сжег! С чего бы это вдруг, не пустые ведь бумажки, большой труд? А, мол, ничего такого... вел он их «ради скуки», ерунда, не жалко и сжечь!

Ответ Зауера был чересчур уж наглым, и его арестовали.

Не дал ничего и арест. Зауеру в конце концов разрешили выехать в Англию. Но вот в Англии он как раз и издал все то, что записывал якобы «ради скуки» и потом «сжег». Не такой он был человек, чтобы простить Биллингсу этот обыск, а в общем и все их прежние отношения!

Все это произошло в сентябре 1794 года, когда экспедиция благополучно возвратилась в Петербург, быть может и не выполнив предписанных ей работ в полном объеме, но все же далеко не безрезультатно. Чего стоит только путешествие через Чукотку, целью которого было более полное знакомство с чукотскими племенами, изучение их образа жизни, их интересов, в конечном счете попытка склонить их к мирному переходу в подданство России (поскольку военной

рукой осуществить это не удалось, да к тому времени и не было это правительственной политикой. Помощь кое-какую чукчи экспедиции оказывали, но в подданство переходить не торопились, вели переговоры подобного рода уклончиво).

Путь был долог, труден и небезопасен. Биллингс свидетельствует: «Дорога наша была сего дня по глубоким топям и по местам ямистым, где подлинно что трудно было идти; оныя ямы были полны снега, и через каждые 8—10 шагов мы падали и вытаскивали друг друга». В ноябре начались сильные морозы. К тому же разбился последний термометр, о чем Биллингс с неподдельной горечью записал: «...я бы лучше желал потерять что-нибудь другое, нежели быть лишенным сего инструмента, потому что хотелось мне узнать всю свирепость мороза в сей части земного шара, а ныне я лишен сего утешения».

Дальше — хуже: «Каково нам было сносить жестокость морозов? Каждый день при пронзительных ветрах шесть часов на открытом воздухе, не находя никаких дров к разведению огня, кроме мелких прутиков, местами попадавшихся, едва достаточных растопить немного снегу для питья, ибо реки замерзли до дна, а притом путешествовать с неповоротливыми и упрямыми чукчами, которые вывели бы из терпения и самого Иова».

Чукчи оказались не только упрямыми, что можно объяснить еще и тем, что у них были и свои интересы, они думали о прокорме оленьего стада, старались идти по местам, где мог обильней расти ягель, — нет, чукчи проявляли не только упрямство, но и требовательность, вымогали подарки, то есть хоть какую-нибудь компенсацию за этот поход, который, в общем, им-то уж

был совершенно ни к чему. Требовали табака, требовали водки, но запасы и того и другого почти иссякли. Биллингс полагал, к тому же, что и не за что, так как собственно в пути они бывали мало. А стоило не дать однажды этого табака, как тотчас ему нагрубили. Мало того, чукчи помоложе решили уничтожить всю эту небольшую экспедицию — и дело с концом. Но мудрость их старейшин взяла верх, охладила воинственный пыл не в меру горячих головушек: Биллингса и его спутников спас своей рассудительностью чукотский старшина Имлерат (впоследствии начальник экспедиции наградил двух старшин, в том числе и Имлерата, золотыми медалями от имени русского правительства, вообще он не скупился на подарки и относился к аборигенному населению хорошо).

Все свои наблюдения, особенно географического и геодезического свойства, Биллингс более или менее подробно заносил в путевой журнал. Не забывал, конечно, отмечать главенствующие высоты, приметные озера, реки, низменности. Позади были положенные на карту бухта Св. Лаврентия, Мечигменская и Колючинская губа, реки Амгуема (впервые им описанная) и десятки менее крупных. 18 января 1792 года он пересек реку Чаун в 150 километрах ниже ее истоков. Где-то еще ниже по течению оставалась последняя на его пути не описанная и не положенная им на карту губа (что, впрочем, сделал до него Ф. Вертлюгов — спутник Шалаурова), но проводник Паграч отказался туда идти, говоря, что из-за «несносного мороза и тумана... берегов Ледовитого океана совершенно не будет видно».

Еще месяц спустя Биллингс достиг Ангарской крепости на Анюе, где и был завершен беспримерный по тому времени зимний переход че-

рез Чукотку (опять же, если не считать поездок по Чукотке Шалаурова, осуществленных, правда, более коротким и южным путем в Анадырь и из Анадыря; да и назначение они имели другое).

За 177 дней Биллингсом было преодолено 1277 верст.

Надо еще сказать, что чуть севернее примерно этот же маршрут прошел (а частично проплыл на байдаре, описывая берега) сержант Гилев, который тоже дал экспедиции весьма ценный научный материал. И неоценимую помощь ей оказали чукча Дауркин и сотник Кобелев.

Следует отметить особую роль этих двух в экспедиции Биллингса, даже, быть может, роль выдающуюся. Чукча Дауркин воспитывался в русской семье, где его обучили грамоте, «пению на клиросе, из ремесла шил сапоги, башмаки мужские и женские». В дальнейшем важную роль в его развитии сыграл сибирский губернатор Соймонов, по распоряжению которого способного чукчу учили арифметике, разрешили посещать обсерваторию в Тобольске. «И показаны были ему... астрономические трубы, чрез которые толковано ему о прохождении против солнца Венеры, и показываемы ему электрическия и протчия машины». Научился он обращаться с компасом, освоил науку картографирования. Кобелев, наоборот, с детских лет общался с чукчами, в совершенстве изучив их язык. В качестве переводчиков, таким образом, они были незаменимы. Но не только в качестве переводчиков. На Чукотке они выполняли и своего рода дипломатическую миссию — подготавливали почву для того, чтобы переход Биллингса через полуостров не только не вызвал противодействия «немирных чукоч», а чтобы они способст-

могли ему и помогали. С этой целью Кобелев и Дауркин загодя были посланы пешим ходом на Чукотку, где должны были потом дожидаться кораблей Биллингса.

Ждать пришлось долго, и в июне 1791 года Кобелев и Дауркин совершили замечательное путешествие: с помощью чукчей и эскимосов они посетили ряд островов Берингова пролива и перебрались затем на американский материк. То есть, в сущности, они были первыми европейцами (условно считая в нашем случае европейцем и Дауркина), пересекшими Берингов пролив и ступившими в этом районе на землю Аляски.

Между тем в дневниковых записях Биллингса и книге Сарычева это событие, которое должно было бы, казалось, послужить к славе экспедиции, ни прямо, ни косвенно не было упомянуто!

Очень может быть, что руководители экспедиции посчитали, наверное, необязательным упомянуть об этом подвиге людей простых, незнатных, тем более что самим Биллингсу и Сарычеву, как известно, удалось достичь берегов Америки и высадиться на них значительно позже.

Однако люди грамотные и понимающие важность своих первооткрытий, переводчики оставили по себе такие неопровержимые документы, как составленные ими карты, а Кобелев, кроме того, и обстоятельные записки. С именем этих людей связано и возникновение легенды о белых бородатых людях, якобы живущих в крепости на американском материке, которые и письменность имеют («деревянные письменные дощечки»), и молятся в «большой хоромине», и т. д., и т. п. Эта легенда вот уже почти два века будоражит ученых, вызывает споры, рож-

дает гипотезы и предположения. Дело в том, что Дауркин сделал даже рисунок крепости на реке Хеуверен, в которой якобы живут бородатые люди, затем последовали и копии с него, обраставшие все новыми и новыми подробностями. Историк С. Г. Федорова тщательно изучила их, сличая деталь с деталью, и пришла к выводу, что, к сожалению, на подлинной дауркинской карте-чертеже имелось в виду все-таки эскимосское укрепление и изображены на нем эскимосы в характерной для них одежде. Мало-помалу эта одежда впоследствии трансформировалась по внешним признакам в русскую, а эскимосы соответственно «обрастали бородами» и т. п. Да и реку Хеуверен ученые до сих пор никак не обнаружат, предполагая под ней реки с иными, современными названиями. Что, впрочем, не снимает с повестки дня исторической науки розыски свидетельств о возможных русских поселениях на американском материке, может статься не обязательно даже приуроченных к полуострову Сьюард.

История полна страстей — ибо такова жизнь, таковы по своей природе люди, таковы и те личности, которых она живописует, воссоздает во всей сложности их противоречий и борений духа.

Побывав на американском берегу либо в совместно организованном байдарочном походе, либо, уже будучи в ссоре, порознь, Кобелев и Дауркин так или иначе заявили об этом. Дауркин — еще и письмом, вырезанным на моржовом клыке, где фамилия Кобелева была позже зашлифована, но не настолько тщательно, чтобы нельзя было ее прочитать. Да и сам этот клык обнаружен С. Г. Федоровой не так давно в коллекции костяных изделий Государственного Ис-

торического музея, причем неизвестно, от кого он поступил. Можно лишь догадываться, что первоначально он побывал в руках у Сарычева, — а каким образом к нему попал?

История полна загадок, и далеко не все из них поддаются ныне расшифровке. С. Г. Федорова в письме ко мне искренне недоумевает: «Что заставило Дауркина выскоблить имя Ивана Кобелева из законченного текста письма, вырезанного на моржовом клыке? Что вынудило его бросить отряд Биллингса, когда тот шел через Чукотку в сопровождении оленных чукчей, — соплеменников Дауркина? Кто пришел Биллингсу на помощь, спас его? Кобелев... Вот оно, кипение страстей! Вникнуть, понять этих людей, их стремления, их самолюбие, их гордость и обиды...»

А была и гордость, были и обиды. Можно, например, предположить, что послужило первоначальным поводом к отчуждению между Дауркиным и Кобелевым. Еще в Охотске, перед тем как отправить переводчиков на Чукотку с их дипломатической миссией (скажем так), Биллингс письменным «наставлением» поставил Дауркина в подчинение сотнику Кобелеву. И это несмотря на то, что Дауркин был коренным чукчей, знающим чукотскую землю уж никак не хуже, если не лучше, Кобелева, имеющим кое-какие заслуги на службе у русских (две географические карты Северо-Востока Сибири что-нибудь да значат!). Да и вообще он был лет на пять старше Кобелева!

Биллингс же, по всей видимости, в такие тонкости не вдавался, а возможно, и вообще больше доверял Кобелеву — все-таки русскому...

Благодаря усилиям многих исследователей имена Дауркина и Кобелева прочно вошли в ис-

торию географических открытий. Да и еще при жизни чукче Дауркину было пожаловано «сибирское дворянство», Кобелев же, по представлению Биллингса, указом Екатерины II был награжден специально отлитой для него (и, таким образом, единственной, не считая сохранившихся в музеях страны бронзовых копий) золотой медалью «для ношения на шее». На оборотной стороне медали было начертано: «Гижигинской команды сотнику поручику Ивану Кобелеву в воздаяние заслуг, оказанных им при северо-восточных экспедициях. 1793».

Как уже отмечено на медали, ему, по ходатайству того же Биллингса («расторопному и достойному к награждению обер-офицерским чином»), было присвоено звание поручика.

Имеются сведения, что Иван Кобелев прожил свыше ста лет, но эти сведения могут быть недостоверными, поскольку Кобелевых-однофамильцев служило в ту пору в Сибири изрядно.

Вернемся, однако, к Биллингсу, чтобы снять с него еще и несправедливый упрек Крузенштерна, вызванный прежде всего слабой осведомленностью о делах Северо-Восточной экспедиции, — упрек в том, что он-де, Биллингс, ни одной карты не составил... Нет уж, за Биллингсом, безусловно, нужно признать авторство в составлении им собственноручно двенадцати карт и планов. Все они подписаны им, и в этом смысле он был крайне щепетилен — на чужих картах своей подписи не ставил. Точно так же, как и Сарычев, только в значительно меньшем объеме, он лично производил опись некоторых гаваней, бухт, проливов. Словом, в фондах, где хранятся бумаги экспедиции, достаточно свидетельств неутомимой деятельности Биллингса в ее рядах, личных его усилий. Не все из того, что намеча-

лось, этой экспедицией было сделано, но многие пункты данных Биллингсу инструкций в то или иное время были отменены различными правительственными инстанциями. И причины тут разные. Все они могут быть прослежены по документам той поры.

В целом экспедиция Биллингса — Сарычева внесла весьма значительный вклад в отечественную географическую науку, а ее люди проявляли подчас незаурядное мужество, стараясь выполнить порученное им дело как можно лучше. Не в последнюю очередь это касается и Иосифа Биллингса, ее бессменного главы.

ВРАНГЕЛЬ, МАТЮШКИН И... КОНКРЕН

Недостаточная освоенность берегов Северной Чукотки от Колымы и далее на восток продолжала беспокоить как русское правительство, так и передовые умы географической науки того времени; дотошного исследования северных морских путей требовало и развивающееся торговое мореходство. В конце концов — как это ни странно — с полной достоверностью еще не было доказано, что пролив между Азией и Америкой поддинно существует. Хотя и доказательств, впрочем, было сколько угодно, начиная со времен Семена Дежнева (1648 год), а затем и геодезистов Ивана Федорова и Михаила Гвоздева. Эти двое не только видели противолежащие берега Азии и Америки, но и нанесли их на карту. Проливом полсотни лет спустя прошел Джеймс Кук — до самого мыса Рыркайпий (нынешний Мыс Шмидта). Но это мог быть вовсе и не пролив. Ведь дальше могло находиться закрытое

море, глубоко в сушу вдающаяся бухта, покрытая льдами. Уж чего-чего, а льдов здесь хватало. Они-то и мешали судам первооткрывателей проникнуть глубоко на север. Льды крепко хранили свою тайну. Вспомним, что мифическую Землю Санникова искали уже в наше, советское, время и «Ермак», и «Садко», и полярная авиация вплоть до 1937 года, прежде чем было окончательно доказано, что такой земли не существует.

Отсюда, между прочим, вполне понятно, почему все же оставались какие-то сомнения в существовании пролива между Азией и Америкой уже после путешествия Биллингса-Гилёва по прибрежной Чукотке до самой Чаунской губы. С другой стороны от устья Колымы через Чаунскую губу до Шелагского мыса и даже дальше прошел в свое время Шалауров — и цепь, таким образом, была замкнута, назад, в сторону запада, простирались более-менее изученные побережья арктических открытых морей. Исходя из этого, можно было не сомневаться, что пролив Беринга — именно пролив между двумя крупными материками, по крайней мере один из них доподлинно был крупный: азиатский. Тем не менее вопрос о существовании пролива считался открытым, и окончательно решить эту головоломку предстояло как раз снаряженной в двадцатых годах XIX столетия экспедиции Врангеля — Матюшкина. Головоломку, усугублявшуюся упорными слухами о существовании во льдах некой земли к северу от Чукотки. Впервые свидетельства о ней и некоторые свои выводы о ее действительном существовании дал еще Сарычев. И Сарычев же составил для Врангеля инструкцию, в которой прямо указывалось на необходимость снарядить отряд из состава экспедиции «для отыскания предполагаемой земли». А в том,

что такая должна быть, Сарычев нисколько не сомневался.

Врангелю в то время было только 24 года. Назначению своему на столь ответственный пост он всецело обязан был прославленному мореходу Василию Головнину. Их отношения имели свою предысторию, на которой следует остановиться немного подробней.

Фердинанд Петрович Врангель родился в Пскове в семье захудалого, почти нищего дворянина и воспитывался большей частью у более имущих родственников. Любимым его занятием в детстве было рыскать в окрестностях Пскова по лесам и рекам, кататься на лодках, играть в индейцев (не догадываясь, конечно, что судьбе будет угодно свести его впоследствии с индейскими племенами на посту правителя Русской Америки). То, что его отдали, чуть подошли годы, на учебу в Морской корпус, по-видимому, вполне согласовалось с его желанием и тайно лелеемыми мечтами, поскольку он писал друзьям: «Карьера моя устроена — я отправляюсь в Морской корпус».

Он сознательно, целенаправленно и истово готовил себя к роли мореплавателя, исследователя дальних стран. Любимым предметом была география. Уже понимая, что жизнь путешественника полна превратностей и лишений, он буквально сызмалу старался закалять свой организм, довольно, надо сказать, субтильный (хотя и был он подвижным, шустрым мальчишкой). Его биографы подчеркивают такие, например, подробности: бестрепетно в трескучий мороз он выбегал из душной бани и катался голышом по снегу, ходил босиком по льду, всегда старался быть легко одетым, в еде был преднамеренно неприхотлив, ограничивался простой и скудной пи-

шей. Не исключено, что подобное, еще с детства внушенное себе подвижничество, этакий аскетизм сослужили ему в Арктике хорошую службу.

В Морском корпусе был он весьма прилежным и способным воспитанником, ни разу не подвергался дисциплинарным взысканиям, курс обучения закончил первым из первых. Можно было считать, что дальше эти его качества будут замечены, в должной мере оценены — и путь к великим свершениям откроется сам по себе. Но не тут-то было! В звании мичмана его зачислили в ревельский флотский экипаж, где юноша вынужден был нести однообразную службу вахтенного офицера на довольно-таки скудном жалованье. Эта вот необеспеченность (а помощи из дому он не ждал) держала его на расстоянии от блестящего морского офицерства той поры, от различных светских увеселений и кутежей, да к тому же он и по натуре не был склонен к такого рода времяпрепровождению. Характер имел замкнутый, отчужденный, общительностью, балагурством никогда не отличался. Да и, правду сказать, некрасив был. Невзрачен и мал ростом...

В 1816 году его вместе с другом и совоспитанником по Морскому корпусу мичманом Анжу назначили на крейсировавший по Финскому заливу фрегат «Автроил». Разнообразия и тут было мало, особенно для юношей, чье воображение занимали честолюбивые картины покорения еще неизведанных пространств, открытия новых земель.

Неожиданно Врангель узнал, что в ближайшее время намечено отплытие в кругосветный рейс военного шлюпа «Камчатка» под командованием В. М. Головнина — и больше ни о чем не мог уже думать, кроме как об изыскании возможности участия в этом плавании. Но как, ка-

ким образом, — он ведь на военной морской службе, безвестный мичман, кто поможет ему, кто пойдет навстречу его страстному желанию? Впрочем, за него хлопотал главный командир ревельского порта, — деятельный мичман ему нравился, — но ответ Головнина был недвусмыслен: в плавание, столь сложное и продолжительное, он предпочитает брать офицеров, лично ему известных.

Это был конец. Сам Головнин отказал мичману. Что же делать? Смириться? Тянуть и дальше лямку флотского офицера в скучном Финском заливе, с тоскливыми зимовками в Ревеле или Свеаборге? Ну, нет! Еще не все средства испробованы. И тогда он решился на поступок, которого никто не мог предположить в дисциплинированном, педантичном по складу характера молодом человеке: сказавшись в оставленном на имя командира «Автроила» рапорте больным и не дожидаясь дальнейших распоряжений, он попросту бежит с корабля. Это вывело командира фрегата из себя: самовольная отлучка офицера с военного корабля — случай неслыханный на флоте. Найти и доставить беглеца! Но... тщетно: в это время Врангель уже штормовал на утлом финском каботажном судне по пути в Петербург.

Он сам явился к Головнину домой и буквально умолял маститого морехода взять его в плавание на любую должность, вплоть до простого матроса. По-видимому, Головнина убедила в молодом человеке страстная готовность служить своей мечте. Мы можем только догадываться об этом, поскольку подробности их разговора неизвестны.

Врангель был зачислен в экипаж шлюпа «Камчатка» младшим вахтенным офицером. Вероятно, Головнину удалось замять и сам факт

бегства офицера с военного корабля — поскольку «бегство»-то было от более-менее спокойной и устойчиво-обеспеченной жизни на такой же, в сущности, военный корабль, имеющий своей задачей плавание, полное опасностей и лишений.

Скажем заодно, что в этом плавании принимал участие и волонтер Матюшкин — будущий коллега Врангеля по арктическому путешествию, прославившему имена обоих. Надо думать, что они имели достаточно времени присмотреться друг к другу и друг друга по достоинству оценить. Друзьями они так и не стали (имея в виду замкнутую натуру Врангеля), что не вредило, впрочем, их деловым отношениям.

На этом же шлюпе шел в кругосветку и молодой мичман Федор Литке — в будущем тоже связавший свою судьбу отчасти и с изучением морей Ледовитого океана.

Таким образом, судьба Врангеля благодаря его решительности, граничившей с отчаянием, легла на угодные ему румбы. Путешествие предстояло трудное, увлекательное — и в своем роде беспримерное для Врангеля. Шлюпу предстояло доставить на Камчатку разного рода грузы, достичь затем берегов Северо-Западной Америки, где Головнин должен был расследовать деятельность администрации Российско-Американской компании, на которую поступали жалобы и нарекания о незаконных действиях в отношении местного населения и должностных злоупотреблениях; кроме того, предписывалось определить географическое положение ряда местностей и островов в пределах русских владений в Америке. Применительно к будущему Врангеля, связанному с этими краями, прекрасная возможность изучить обстановку, природу, быт аборигенов Русской Америки. Тогда, повторяю, он еще

не мог предполагать, что ему придется отдать много лет служению Российско-Американской компании, в конечном счете — всей этой туманно-суровой земле. Но именно плавание, совершенное в юности, помогло ему в будущем легко принять обязанности правителя Русской Америки.

Остались за кормой живописнейший город Рио-де-Жанейро, знакомство с экзотической Бразилией, штормовой мыс Горн, берега Перу... Во время плавания Врангель показал себя весьма старательным и предприимчивым офицером. Надо в спешном порядке доставить балласт и дрова на шлюп — Врангель справляется с этим как нельзя лучше (что дало повод Головнину заметить в своей книге: «За сию поспешность обязан я деятельности и усердию мичмана барона Врангеля»). Исполнителен он был и на борту шлюпа. Словом, Головнин мог быть доволен, что внял мольбам юного мичмана...

Посетив Русскую Америку и колонию Росс, которую впоследствии Врангель назвал одной из тех «благословенных стран земного шара, на которые природа излила все дары свои», шлюп взял курс на Сандвичевы (Гавайские) острова. Здесь русским морякам представилась возможность беседовать с оставшимися в живых островитянами — очевидцами гибели Джеймса Кука.

И снова — ветром полны паруса! Марианские острова, Филиппинские острова, изнуряющий переход вокруг мыса Доброй Надежды, остров Святой Елены, где томился в изгнании охраняемый англичанами император Наполеон. Увидеть его хотелось не только Головнину, но и всем офицерам шлюпа «Камчатка». Однако англичане воспротивились не только встрече русских моряков с опальным императором, но даже посещению долины, где находилось его комфортабель-

ное жилище. Русским офицерам (и в том числе Врангелю) не оставалось ничего иного, как пристрастно в течение нескольких дней рассматривать в зрительную трубу «столь примечательное место» в надежде, что император покажется в поле зрения. Но, видно, Наполеон об этом не догадывался, возможно, не выходил из резиденции намеренно. Есть сведения, что он как раз в эти дни болел.

Азорские острова. Несколько европейских портов. И наконец своя земля, Кронштадт! Кругосветное плавание, в котором участвовал молодой Врангель, завершилось. Он стоял на пороге следующих немалых свершений в своей судьбе. А плавание под началом выдающегося морехода Головнина дало ему для этого надежный морской опыт, добротную школу моряка-географа. И главное — благосклонность Головнина, что сказалось и на дальнейшей его службе.

Итак, по рекомендации Головнина в 24 года он становится во главе большой экспедиции, призванной, совместно с экспедицией его друга по Морскому корпусу Анжу, прежде всего к подробной описи берегов Восточной Сибири. Если говорить об отряде Врангеля — «для описи берегов от устья реки Колымы к востоку от Шелагского мыса и от оного на север, к открытию обитаемой земли, находящейся, по сказанию чукчей, в недельном расстоянии».

Эта экспедиция положила на карту побережье Северного Ледовитого океана от устья Индигирки до острова Колючин на востоке, включая острова Медвежьи и Айон. И все же основной задачей Врангеля было пройти как можно дальше на север, во льды океана, в поисках мифической «Земли Андреева», якобы найденной сержантом Андреевым еще во времена Шалаурова (они,

кстати, и встречались в своих мучительных переходах), пройти на север и северо-восток от Медвежьих островов. Врангель заходил на собачьих упряжках от этих островов до 250 километров в глубь льдов, но так ничего и не обнаружил, если при этом не считать, конечно, астрономических и климатических наблюдений, которые Врангелем производились сугубо неукоснительно, невзирая ни на какой мороз (так что измерительные инструменты иной раз примерзали у него к щеке, на которой не успевал заживать шрам). Академик Ф. И. Шуберт по поручению Адмиралтейского департамента проверил астрономические и геодезические работы Врангеля и дал о них весьма лестный отзыв: «Сравнение промежутков времени с разностью высот или лунных расстояний показало мне, что наблюдения сих путешественников (Врангеля и Матюшкина. — *Л. П.*) столь верны, насколько можно их сделать с помощью подобных инструментов. Чтобы учинить наблюдения сколь возможно точными, они не упускали ни одной предосторожности, ни одной поправки, например, поправки рефракций термометром или барометром, что необходимо под сими большими широтами. Я делал строгие вычисления многих наблюдений и не открыл нигде никакой важной погрешности, почти всегда находя секунду в секунду широту и долготу».

Врангель искал «Землю Андреева», впрочем, отчасти на свой страх и риск, ибо ему было предписано все же искать ту землю, которую мы и называем сейчас островом Врангеля. Ее поисками он занялся только в марте 1823 года, когда экспедиция, в сущности, близилась к концу, и прошел на северо-восток от острова Шалаурова километров за полтораста. Тяжелые льды и уча-

стки открытой воды, полыньи, расщелины не дали ему пройти дальше, что, надо сказать, изрядно его угнетало. Ибо по всем приметам, рассказам чукчей сперва Матюшкину, а потом и ему самому земля впереди должна была существовать.

«Величественно-ужасный и грустный для нас вид! — писал впоследствии Врангель. — На пенящихся волнах носились огромные льдины и, несомые ветром, набегали на рыхлую ледяную поверхность... Может быть, нам удалось бы по плавающим льдинам переправиться на другую сторону канала, но то была бы только бесполезная смелость, потому что там мы не нашли бы уже твердого льда... С горестным удостоверением в невозможности преодолеть поставленные природой препятствия исчезла и последняя надежда открыть предполагаемую нами землю, в существовании которой мы уже не могли сомневаться. Должно было отказаться от цели, достигнуть которой постоянно стремились мы в течение трех лет, презирая все лишения, трудности и опасности. Мы сделали все, чего требовали от нас долг и честь. Бороться с силой стихии и явной невозможностью было безрассудно и еще более — бесполезно. Я решил возвратиться».

Свою неудачу он переживал тяжело, но скрытно, в себе... Директор Царскосельского лицея Энгельгардт, с которым Матюшкин во время всего путешествия поддерживал регулярную переписку, заметил ему кстати: «...Хотя и нет вины вашей, но все как будто бы что-то в экспедиции не окончено.

Из одного письма твоей маменьки ко мне мог я догадаться, что у вас с бароном Врангелем что-то не ладилось; не говори о том чужим лю-

дям, ты знаешь, как в свете всегда делается: из одного твоего слова сделают целую речь; это дойдет искаженным до Врангеля и до высшего начальства и может сделаться тебе вредным. Будь осторожен и оглядывайся с кем говоришь!»

Здесь речь идет именно об этой основной неудаче, имевшей для Врангеля очень большое личное, престижное значение. Чем отчасти можно объяснить, что, положив все-таки эту землю на карту, он ни разу нигде не сослался на инструкции Сарычева, на его сочинение (которое не мог не знать, поскольку в других случаях неоднократно на него ссылался), на высказывания Сарычева относительно существования на севере некой земли. Вопрос честолюбия и, так сказать, приоритета? Возможно. Но что простительно американскому китобою Томасу Лонгу, в 1867 году впервые воочию убедившемуся в наличии большого острова на севере[1] и назвавшего его островом Врангеля («Я назвал эту землю островом Врангеля потому, что желал принести должную дань уважения человеку, который еще 45 лет тому назад доказал, что полярное море открыто»), — так вот, что простительно Лонгу, которому книга Сарычева, скорее всего, была действительно неизвестна, то непростительно Врангелю. Что ни говорите, человек он был себе на уме... Сложный был человек. Как мы знаем, к себе мало располагающий. Но — целеустремленный и безусловно мужественный.

Вероятно, трудно было с таким человеком уживаться и работать. Но вот что удивительно — Матюшкин, такой же молодой, специально себя к полярным странствиям отнюдь не закалявший,

---

[1] Восемнадцатью годами раньше весьма неотчетливо, смутно видел его и английский капитан Келлет, искавший в этих водах пропавшую экспедицию Джона Франклина.

немного даже сибаритствующий, с восторгом и умилением вспоминающий то и дело свои царскосельские годы, по-видимому, неплохо уживался с суровым начальником-аскетом. Мало того, что они прошли бок о бок (впрочем, имели и самостоятельные задачи, бывало, что и надолго разлучались) все годы в экспедиции, Врангель не позабыл Матюшкина и впоследствии, когда получил назначение руководить кругосветным плаванием на транспорте «Кроткий» (в 1825—1827 годах). Он пригласил в это плавание троих спутников по тяжким полярным скитаниям: Матюшкина, штурмана Козьмина и доктора Кибера.

Теперь чуть подробнее и о Федоре Федоровиче Матюшкине. Каждому из лицеистов был словно бы предуготован свой путь — и каждый из них шел этим путем до конца. Юный Матюшкин, у которого в лицее было шутливое прозвище Федернелке (имели прозвища и Пушкин, и Дельвиг, и Кюхельбекер, это было в порядке вещей), мечтал о море. И, видимо, немалого труда стоило директору лицея Е. А. Энгельгардту уговорить Головнина взять нежного юношу в «кругоземный вояж» в качестве волонтера. Сразу после выпускного июньского бала разрешение от Головнина было получено. Что дало повод Кюхельбекеру сочинить в честь товарища:

Скоро, Матюшкин, с тобой разлучит нас шумное море:
Челн окрыленный помчит счастье твое по волнам!

Два с половиной месяца спустя восемнадцатилетний волонтер, стоя на борту шлюпа «Камчатка», с замиранием сердца и грустью смотрел на бастионы Кронштадта, скрывающиеся в облачной дымке. Кстати сказать, моряк в мечтах, Матюшкин на деле только сейчас в полной мере испытал, насколько противопоказано ему море:

укачивался первые недели ужасно и, казалось, безнадежно. И в душе очень страдал от этого, стыдился. Быть может, именно в те дни он и сошелся близко с сочувственно относившимся к его беде мичманами Врангелем и Литке. Впрочем, была еще пора, когда «Камчатка» могла изредка заходить в европейские порты. Когда шлюп зашел в Портсмут, у Матюшкина появилась даже возможность съездить в Лондон, где он осмотрел, в числе других достопримечательностей, также и гробницу прославленного героя Трафальгара и Абукира лорда Нельсона. Что ж, Нельсон тоже страдал морской болезнью, но флотоводцем был великим.

Верил и Матюшкин в свою звезду.

В сущности, впечатления от плавания были те же, что и у его товарищей Врангеля и Литке. Новый неизведанный мир открывался перед ними, величественный, необычайно живописный, увлекательный, иногда грозный и... страшный. В Бразилии более экзотических пейзажей и всех природных чудес Матюшкина поразили картины неприкрытого рабства и надругательства над человеком, возмутившие его душу, еще не приобретшую после лицея житейского иммунитета, не зачерствевшую в жизненных бурях. Побывав на кофейных плантациях, на невольничьих кораблях, он горько записывает в своем дневнике: «Там можно видеть все унижение человечества как со стороны притесненных несчастных негров, так и со стороны алчных бесчеловечных португальцев... Все, что себе можно вообразить отвратительного, представляется глазам нашим».

Здесь надо подчеркнуть, что это были не пустые слова, и его собственное отношение к чукчам было, например, отношением едва ли не равного к равным. Он достаточно отчетливо пони-

мал, что социально-экономический разрыв, обусловленный иным историческим развитием, более благоприятными (в том числе и природными) условиями, не дает ему права относиться к этим людям, находящимся на самой низшей ступени общественного развития, по существу в условиях каменного века и первобытных навыков труда, — не дает ему никакого права относиться к ним свысока. Хотя, как человек, призванный беспристрастно описать этот их быт, жизнь и нравы, он мог позволить себе в то же время и удивление, и усмешку, и даже возмущение. Например, когда проводники, похвалявшиеся перед тем, какие они храбрые охотники и как расправляются с хищными зверями, удрали, бросив его на произвол судьбы в весьма неравной схватке с бурым медведем (правда, проводниками у него были не чукчи, а чуванец и якут). Спасла его тогда от верной гибели собака, вывернувшаяся неизвестно откуда, так как уже два дня не было о ней ни слуху, ни духу, считалось, что пропала совсем...

В этнографическом отношении интересно его описание ярмарки («ярмонки») в Островном, куда съезжались якуты, юкагиры, чукчи со всего полуострова, даже от Берингова пролива, где они, в свою очередь, занимались меновой торговлей с эскимосами и индейцами Северной Америки. Здесь он впервые побывал в чукотской яранге, и не просто в яранге, поскольку в ней обычно зимой чукчи не живут, она служит чем-то вроде обширной прихожей, — а во внутреннем ее пологе. «Я радовался случаю узнать жизнь чукчей, но когда я, по настоянию и примеру гостеприимного хозяина, вполз... под полог, то проклял свое любопытство. Можно себе представить, какова атмосфера, составленная из густо-

го вонючего дыма китового жира и испарений шести нагих чукчей! Жена и семнадцатилетняя дочь хозяина приняли меня в таком пышном, домашнем костюме с громким смехом, возбужденным, вероятно, моей неловкостью при входе в полог. Они указали мне место, где сесть, и спокойно продолжали вплетать бисер в свои космáтые, намазанные жиром волосы... Окончив свои занятия, хозяйка принесла в грязной деревянной чашке вареную оленину, без соли, и, прибавив к тому порядочную порцию полупротухлого китового жира, ласково пригласила меня закусить. Дрожь пробежала по моему телу при виде такого блюда, но я должен был, чтобы не обидеть хозяина, проглотить несколько кусков оленины... Удивительно, как при такой неопрятности и зараженном воздухе жилищ народ сей остается сильным и здоровым».

Терпимость и понимание — вот что отличает поведение Матюшкина во всех случаях, когда ему пришлось сталкиваться с аборигенным населением, и не только сталкиваться, встречаться, но и делить зачастую хлеб, соль и общую постель. Терпимость, понимание, участие, боль... Он пишет, например, в письме к Энгельгардту (да простит меня читатель за пространное цитирование, но ведь своими словами чужую боль не перескажешь): «Вообразите себе юрту, низкую, дымную, в углу чувал, где козак на сковороде поджаривает рыбу, в окнах вместо стекол льдины, вместо свечи теплится в черепке рыбий жир, вместо постели медвежина, постланная на скамье, и это — мой дворец. Вот, Егор Антонович, мое житье-бытье, а скука, скука... И добрый человек не придет поговорить со мной — сижу один, думаю, мечтаю, и часто несчастный, приходящий за подаянием, застает меня в слезах.

Несчастие делает человека лучшим, я никогда не мог похвалиться сострадательностью (вот уж неправда, ради словца сказано. — *Л. П.*), но признаюсь, что теперь делюсь последним с бедным. Только теперь вышла от меня юкагирка, которая принуждена была есть мертвые тела своих детей, седьмое и последнее свое дитя она с голоду и с жалости сама умертвила. Ужасно!

Вы не поверите... в каком бедственном положении этот край. Седьмь голодных годов сряду, и в сие несчастное время мы прибыли».

Надо сказать, что такой упадок духа (на словах; на деле Матюшкин исправно делал в экспедиции все то, что нужно было и к чему его привлекал Врангель) посещал мичмана только в первый год экспедиции — по слишком большому контрасту со всей прежней его жизнью. Впоследствии он окреп, возмужал, хотя и сетовал не раз на условия жизни, на ревматические боли и т. п.

Именно в эти последние месяцы приготовлений к будущим маршрутам по Чукотке и в полярных льдах судьба послала нашим путешественникам весьма странного человека (если судить по характеру его предприятия) — англичанина Конкрена.

Джон Конкрен, капитан английского флота, прославился отнюдь не своими плаваниями, а путешествиями пешком («о чем толковали и писали тогда в целой Европе»). Эта страсть привела его наконец в Россию, откуда он — пешим же порядком — мечтал пройти в Америку. Предприятие по тем временам фантастическое! Русские власти создали его затее, как сказали бы сейчас, климат наибольшего благоприятствования, давали путешественнику открытые путевые листы, всегда его сопровождал казак-проводник, в губернских и прочих городах оказывали надле-

жащие знаки внимания и потчевали с сибирским размахом... Губернатор Западной Сибири, знаменитый в свое время министр Александра I, опальный Михаил Сперанский принял явившегося к нему в Барнауле рыжебородого, в длиннополой свитке и подпоясанного кушаком Конкрена за попа-расстригу и то-то посмеялся, узнав, что перед ним весьма просвещенный англичанин, хотя, безусловно, и чудак.

Чтобы разузнать о Конкрене подробней, мне пришлось обратиться к эпистолярному наследию Сперанского. Действительно, губернатор упоминает о нем, например, в письме своему родственнику графу Кочубею: «...Примечательная черта его путешествия та, что около Москвы его ограбили, а Сибирь проехал он благополучно и не может довольно ею нахвалиться. Впрочем, понятие его о цели и средствах его путешествия столь поверхностно и география столь неосновательна, что не много стоило труда вывести его из заблуждения». А дочери характеризует англичанина в таких словах: «Острота, бродяжничество, упрямство и вместе безрассудное легкомыслие и несвязность предприятий». И добавляет: «Совсем неправда, что он путешествовал пешком. Он благополучно нанимает лошадей и едет довольно покойно; здесь купил даже и повозку; доселе он их переменял».

От Сперанского Конкрен узнал об экспедиции Врангеля — Матюшкина, к которой решил присоединиться. Итак, он пустился вдогонку за ней. Между тем Сперанский серьезно предупреждал его, чтобы он действовал «в изысканиях своих отдельно», понимая, что Врангель и Матюшкин отнюдь не будут расположены делить с ним «славу новых открытий». Что ж, пусть так. Конкрен вроде согласился. Чем путешествовать одному,

еще неизвестно, с каким исходом, надежнее все-таки быть с экспедицией! Но что Конкрену пришлось вытерпеть на сибирских зимних путях, далеко не столбовых! «Местные жители приходили в изумление и от всего сердца сочувствовали моему, на их взгляд, столь беспомощному и безнадежному положению; однако они не принимали во внимание, что природа бессильна перед человеком, дух и тело которого находятся в постоянном движении», — довольно бодро пишет он в своей книге. Скоро ли, нет ли достиг он Зашиверска, и кровь застыла в его жилах от бесприютности и заброшенности этого места: «Я странствовал в скалистых сьеррах Испании, в Андах Америки, в Пиренеях, в первобытных лесах Канады, но нигде не видел такой бесконечно печальной картины... Находясь на службе во флоте, когда бывало трудно завербовать матросов, я встречал шестнадцатипушечные торговые корабли, команда которых состояла из пятнадцати человек, но еще ни разу не попадал в город, население которого составляет всего семь человек». И еще два месяца пути — из Якутска в Средне-, а затем и в Нижнеколымск, где Врангель и Матюшкин весьма деятельно запасали ввиду предстоящих нартовых поездок рыбу для собак, да и все, что могло понадобиться в их труднейшем предприятии. Конкрен рад хотя бы и тому, «что в это угрюмое, студеное время не отморозил ничего жизненно более существенного, чем переносицу между глазами».

В чувстве юмора ему не откажешь, — но, вероятно, это юмор уже задним числом полыхающего огнем уютного домашнего камина...

В Нижнеколымске появление Конкрена привело всех в изумление. «Ограниченные только собственным нашим обществом и совершенно

отдаленные от просвещенного мира, мы весьма обрадовались такому приятному приращению малого нашего круга», — сообщает Врангель. Что ж, приятное времяпрепровождение, умные беседы с повидавшим всяких див человеком могли только радовать. Поскольку это не касалось дел экспедиции. Но когда пришелец изъявил все-таки желание принять в ней участие, Врангель отказал ему без обиняков, мотивируя отказ тем, что «каждый лишний фунт груза был нам в тягость, увеличение числа людей еще одним сопутником слишком затруднило бы нас». И вообще, надо признать, отношение к Конкрену было слегка насмешливое. Вольно же, мол, ему... в этакую даль... у нас все-таки работа, полезная деятельность для блага отечества, а тут так... Только для остроты ощущений... Врангель нигде о нем больше не упоминает, отчасти передоверив его заботам Матюшкина.

В феврале 1821 года Матюшкин как раз отправлялся на Анюй под Островное, где предполагалась знаменитая «ярмонка». Цель он преследовал двоякую: предстояло ближе познакомиться с чукчами, объяснить им задачи экспедиции и обезопасить себя от враждебности, которую те продолжали испытывать к разным пришельцам, а заодно приобрести нужные для нарт моржовые ремни и китовые ребра. С ним увязался и Конкрен, намеревавшийся с помощью возвращающихся с ярмарки чукчей достигнуть Берингова пролива и перебраться в Северную Америку.

И тому и другому Анюйская ярмарка дала возможность познакомиться с малыми народностями Северо-Востока, так сказать, в лучшую, праздничную пору их жизни, на ярком, шумном, своеобычном по нравам и ритуалу торговом ри-

сталище. Именно здесь Матюшкину посчастливилось по приглашению богатого старшины Леута побывать в его семейном пологе. Здесь же, на ярмарке, был удобный повод для русских миссионеров обращать язычников в православную веру, а поскольку действо сие сопровождалось подарками (табаком, медными котлами и т. п.), то иные из обращаемых готовы были креститься вторично. Они очень возмущались, когда им в этом отказывали. Увы, подобное крещение было всего-навсего формальностью, поскольку в смысл и глубинное значение новой веры никто из обращаемых не вдавался. Матюшкину и Конкрену привелось наблюдать одно такое «крещение», причем они и описали его почти в одних и тех же выражениях, Матюшкин, пожалуй, менее эмоционально: «При нас также один молодой чукча объявил, что он за несколько фунтов черкасского табаку желает окреститься. В назначенный час собралось в часовню множество народа, и обряд начался. Новообращенный стоял смирно и благопристойно, но когда следовало ему окунуться три раза в купель с холодной водой, он спокойно покачал головой и представил множество причин, что такое действие вовсе не нужно. После долгих убеждений со стороны толмача, причем, вероятно, неоднократно упоминался обещанный табак, чукча, наконец, решился и с видимым нехотением вскочил в купель, но тотчас выскочил и, дрожа от холода, начал бегать по часовне, крича: «Давай табак! Мой табак!» Никакие убеждения не могли принудить чукчу дождаться окончания действия; он продолжал бегать и скакать по часовне, повторяя: «Нет! Более не хочу, более не нужно! Давай табак!»

Нечего и говорить, что никаких христианских обрядов впоследствии они не придерживались и

жили по своим собственным установлениям и верованиям.

Короче говоря, Матюшкин добился полного благорасположения чукчей, и те в лице своих старшин заверили его, что не только будут принимать экспедицию по-дружески, но и помогут ей в меру своих возможностей. («Договор, к великому удовольствию моих гостей, был скреплен порядочной порцией хлебного вина», — заключает Матюшкин.)

У Конкрена дела были не столь хороши, проще говоря, чукчи отказались взять его с собой на берега залива Св. Лаврентия — невзирая даже на посулы табака и вина. Леут запросил фантастическое количество табака (почти полтонны, 30 пудов), а другой старшина, простодушный Валетка, предлагал даже безвозмездно довести Конкрена до своего кочевья на реке Веркон, пообещав дальше отправить его со своим родственником; в крайнем случае, в следующем году доставить назад в Островное. Здесь уже заколебался сам Конкрен — что-то уж слишком Валетка бескорыстен, не таится ли за его простодушием некий подвох?! Матюшкин же считал, что Конкрен, познакомившись с образом жизни чукчей, с теми затруднениями и лишениями, какие он неизбежно испытает в оленных перекочевках с ними, да еще не зная их языка, не представляя их намерений, быть может и враждебных ему (от которых открытый лист губернатора отнюдь не защита), счел за благо возвратиться в Нижнеколымск.

Между тем Валетка никаких коварных хитростей не таил, он был открыт и ясен, такая уж натура, редкая в те времена среди чукчей. Он первый поведал Матюшкину о существовании земли к северу от Шелагского мыса, еще до то-

го, как о ней узнал из рассказов местных жит
лей Врангель. Что послужило причиной взво
нованного восклицания в письме к Энгельгардт
«И знаете ли, какую я Вам скажу радостну
весть, мы найдем землю и непременно найдем
я утверждаю, что к северо-востоку от Чаунско
залива *должна быть* земля».

О Конкрене мы могли бы узнать подробне
вероятно, опять же из письма Матюшкина
Энгельгардту, в котором он пересылал и письм
самого Конкрена, но ни то ни другое не был
получены адресатом и не обнаружены нигде
архивах. А жаль. Впрочем, в свою Америку Кон
крен в конце концов пробрался, российские рас
стояния не стали ему помехой, — но попал о
туда уже с Камчатки, и это было проще, так ка
много в тех краях ходило и торговых судов Рос
сийско-Американской компании, и иностранны
купеческих... В Петропавловске-Камчатском
между прочим, проводил он время нескучно,
тогдашний начальник Камчатки известный море
плаватель П. И. Рикорд даже ухитрился женит
редкостного гостя на местной красавице, дочери
дьячка. Затрудняюсь сказать, как решался пр
этом вопрос вероисповеданий, привожу лиш
факт, сам по себе забавный. И хотя Сперански
в письме к дочери предрекал Конкрену рано ил
поздно смерть от сумасшествия, умер тот все-та
ки при переезде из Мексики в Европу в 1838 го
ду от заурядной малярии.

Возвратимся к Матюшкину. В дальнейшем,
как мы знаем, он участвовал еще в одном круго-
светном путешествии, на транспорте «Кроткий»,
и опять же под началом барона Фердинанд
Врангеля, угрюмого и малообщительного. И в те
же края, в воды Русской Америки, с заходом на
те же острова Океании, на те же острова Филип-

нинские... Энгельгардт писал одному из своих бывших воспитанников: «Прибыло сюда с острова Нукухива животное довольно редкое, именуемое Матюшкин, которое на сих днях будет у меня показываться любителям оного...» Увы, это было уже осенью 1827 года, когда многие из матюшкинских друзей не смогли прийти в гостеприимный дом Энгельгардта... не смог Матюшкин обнять и расцеловать Пущина и Кюхельбекера, не было здесь и опального Пушкина.

Будь Матюшкин в годы образования тайных обществ чаще на берегу, возможно, ему бы и не миновать в свой час Сенатской площади. А раз так, то, подобно многим декабристам, занимался бы географическими и этнографическими исследованиями в Сибири или на землях Русской Америки. И это еще в лучшем случае. Могла быть и каторга, и сибирские рудники. Могла быть и петля... Но, оторванный от друзей-вольнодумцев, не проникшийся всерьез их интересами и представлениями о необходимости общественного переустройства в России, о свержении тирании, вращающийся в кругу совсем иных забот и устремлений, увы, он считал их «преступниками». («Но Пущин. Нет, Пущин не может быть виноват, не может быть преступником. Я за него отвечаю. Он взят по подозрению и по пустому подозрению — дружба его с Рылеевым, слово, сказанное неосторожно, но без умысла», — писал он Энгельгардту с борта «Кроткого», пришедшего в Новоархангельск-на-Ситхе, где уже были известны последствия событий на Сенатской площади.) И все же Матюшкин искренне сочувствовал декабристам, да и не мог не сочувствовать, ведь среди них было столько его друзей и знакомых, столько прежних единомышленни-

ков! Это сочувствие, безусловно, дало себя зна и в спорах с Врангелем, человеком изрядно ко сервативных взглядов.

В порыве раздражения командир «Кротког написал своему другу Литке: Матюшкин, мо «вообразил себе, что его сообщники в Петербу ге овладели теперь всем правлением».

И как сказано: сообщники!

Да нет же, Матюшкин не был сообщнико декабристов ни до, ни после их выступления Ему судилось другое. «Мне не годится жить н берегу, — признавался он, — я там сам не свой То ли дело на корабле! Боже мой, скоро ли опять пойду в море!»

Море стало смыслом его бытия. На корабл «Эммануил» он сражается в рядах русской эскад ры за правое дело греков в борьбе против их по работителей-турок. Здесь же он получает в ко мандование бриг «Ахиллес», находящийся в не посредственном ведении президента Греции. За тем многолетняя служба на Черном море. Ег друзья и начальники по флоту — будущие выда ющиеся флотоводцы, герои севастопольской обо роны П. С. Нахимов, адмирал М. П. Лазарев Матюшкин командует разными крупными кораб лями. Здесь его потрясла печальная весть о ги бели на дуэли лицейского друга Александр Пушкина, великого поэта России, казалось сов сем недавно написавшего посвященные Матюш кину строки:

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полунощных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, во... и бурь любимое дитя!

Сокрушенный и истерзанный печальной вестью, он пишет лицейскому товарищу: «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как ты мог это допустить?..» Горе его тем глубже, что Матюшкин встречался и беседовал с Пушкиным всего лишь год с небольшим назад и, казалось, помнил еще каждое его слово, жест, движение, бережно хранил в себе воспоминание о живом блеске его неспокойных глаз... Но время мало-помалу залечивает раны. Однако, верный своим убеждениям и старой лицейской дружбе, Матюшкин и в последующие годы поддерживает связь со ссыльными декабристами, пишет Ивану Пущину, а где-то уже в 1852 году посылает ему в Ялуторовск купленное старыми лицеистами в складчину фортепьяно. Тронутый до глубины души, Пущин ответил им: «Спасибо вам, от души спасибо! Разделите между собой мой признательный крик, как я нераздельно принимаю ваше старое лицейское воспоминание. Фортепьяно в Сибири будет известно под именем лицейского...»

Потом были Балтика, служба в морском министерстве уже в солидном чине контр-адмирала, заботы об укреплении крепостей на Балтике, тех самых ее передовых бастионов, которые в Крымскую войну преградили мощному объединенному флоту англо-французов путь к Петербургу.

Хоронили Матюшкина в 1872 году в преклонном возрасте.

Как моряк он достиг самых высоких постов, дослужился до адмирала флота. Как полярный исследователь известен менее, отчасти потому, что его заслонил своим авторитетом Фердинанд Врангель, но отчасти и по той еще причине, что

так и не удосужился издать собственную книгу. Если не считать маленькой публикации в журнальчике «Мнемозина», Матюшкин за своим именем при жизни не опубликовал решительно ни строчки. Хотя в свое время он писал Энгельгардту, что некий англичанин предложил ему за рукопись о путешествии десять тысяч («даст, может быть, и 15 т.»). У Матюшкина, молодого, неискушенного в таких делах, возникли сомнения — а имеет ли он право продать свой труд? Деньги-то были весьма немалые. И Энгельгардт ответил, что, безусловно, не имеет, так как все его записи являются достоянием экспедиции, они сделаны в итоге ее работ. Потом, когда они будут обнародованы в России, тогда уж вольному воля... Так писал тот самый Энгельгардт, который без устали твердил в своих письмах любимому питомцу: «Советую тебе вести записки такого рода, чтобы можно было потом здесь из них составить маленькое особое путешествице, которое мы обработаем разом на русском, немецком, французском и английском языке, приложим литографические рисунки видов, костюмов, странностей и пр., и оно принесет тебе — пользу, честь и славу. Записывай, замечай — обряды, обычаи, странности людей и природы и характеристические черты, записывай много, все вкратце, только для того, чтобы после вспомнить, а уж мы составим очень любопытную книжечку...»

Матюшкин записки вел, и довольно насыщенные, познавательные, не лишенные юмора, виды рисовал, особенно часто — северные сияния, но «очень любопытной книжечки», к сожалению, не получилось, ибо все его материалы поглощены рукописью Врангеля и идут как бы от

одного лица, выправленные соответственно редактором [1].

Не потому ли его имя долгое время просто-напросто оставалось в тени? И вообще, судя по результатам экспедиции — а они значительны — можно было ожидать каких-либо служебных льгот, повышения в чине, но ничего этого не последовало, во всяком случае для Матюшкина! Врангель получил своего капитан-лейтенанта, а Матюшкин же горько сетовал в письме к Энгельгардту от 24 апреля 1824 года: «Через 2 месяца будет 7 лет, как я на службе, 7 лет, как из лицея, а все еще в первом чине — все еще мичман...»

Но, как уже было сказано, достигнув наконец в греческую кампанию звания капитан-лейтенанта, Матюшкин стал продвигаться по службе вполне успешно. Однако не старым и исправным служакой хотелось бы нам его знать, а — известным полярным путешественником, которым можно и должно гордиться.

...Вот каких людей видывали седая Чаун-тундра, Чаунская губа, суровый Шелагский мыс!

---

[1] Перу Матюшкина принадлежит, впрочем, и дневник («Журнал») с описанием самого первого плавания, в котором он принимал участие, то есть плавания под командой Головнина на шлюпе «Камчатка». Этот дневник опубликован совсем недавно. Из книги П. В. Анненкова, биографа Пушкина, известно, что накануне этого плавания юный, уже знаменитый поэт «долго объяснял ему (Матюшкину. — *Л. П.*) настоящую манеру записок, предостерегая от излишнего разбора впечатлений и советуя только не забывать всех подробностей жизни, всех обстоятельств встречи с разными племенами и характерных особенностей природы».

И Матюшкин при описании своих путешествий старался быть верным этому принципу отбора материала.

«МОД» У ОСТРОВА АЙОН. ПОХОДЫ ОБРУЧЕВА

Видывали эти края не так уж давно, в пору нашей с вами жизни, читатель, и иных знаменитостей. Был здесь в 1919—1920 годах покоритель Южного полюса норвежец Руаль Амундсен. Да разве только Южного? Южный полюс — это его вершина, сияющая звезда. Едва ли менее «звездное» достижение — его сквозное плавание Северо-Западным морским проходом, которое до Амундсена безуспешно пытались осуществить на протяжении почти четырех веков многие выдающиеся полярные путешественники. Амундсен первый, кто сумел пробиться через путаницу островов Канадского архипелага и пройти Северо-Западным проходом из Атлантического океана в Тихий. Он первым пролетел на дирижабле «Норвегия» над Северным Ледовитым океаном и пересек полюс (дирижабль сконструировал и вел в этом перелете итальянец Умберто Нобиле).

Таким образом, известный норвежский полярный путешественник и исследователь Амундсен побывал на обоих полюсах Земли. Наконец (не говоря уже о других его плаваниях и заслугах), он третьим осуществил сквозной проход по Северному морскому пути в Атлантический океан, вдоль берегов Европы и Азии.

Как он сам заявил впоследствии, «мне было дано выполнить то, к чему я себя предназначал. Этой славы достаточно на одного человека». А предназначал он для себя очень много, и, по его же словам, вся его жизнь с пятнадцатилетнего возраста «была постоянным движением вперед к одной определенной цели». Он

свято верил — так сказать, для начала, — что проблему, загадку Северо-Западного прохода, занимавшую пытливые умы столько веков, суждено разрешить именно ему. Как известно, он прошел Северо-Западным проходом, хотя и на пределе сил и возможностей. Но, впрочем, такие достижения всегда совершаются на пределе возможностей человека. Даже если иметь в виду сверхточный расчет, опирающийся на великолепно подготовленную и продуманную материальную базу. Разве не так был достигнут им Южный полюс? Ведь именно непродуманность в деталях, в снаряжении, те или иные упущения в тактике движения (не говоря уже о стратегическом плане) не позволили достичь полюса годом раньше Шеклтону, а Роберта Скотта они привели к гибели. Академик Визе, известный полярный исследователь, писал о походе Амундсена к Южному полюсу, что его «можно сравнить с безупречным разыгрыванием музыкальной пьесы, в которой каждый такт, каждая нота заранее известны и продуманы... все шло именно так, как предвидел и рассчитал Амундсен».

И так в каждом путешествии, в каждом плавании, — а все они были на уровне великих достижений, великих, если не величайших. Для плавания в арктических льдах Северного морского пути (первоначально задуманном как дрейф через Северный полюс, но дрейф этот не состоялся) Амундсен, подобно Нансену, сконструировал свой корабль «Мод» с корпусом, вся подводная часть которого имела форму разрезанного вдоль яйца. Так конструировали, кстати, когда-то кочи для плаваний в полярных морях наши поморы. При такой конструкции льды не раздавливают судно, как это случилось в 1881 году с «Жаннеттой» Джорджа

де Лонга, а словно бы выдавливают его на поверхность. Это предопределило успех плавания Амундсена в районе Северного морского пути. И тем не менее далеко не все в этом плавании шло, как задумывалось. Были потери. Сам Амундсен лишь чудом не погиб при столкновении с разъяренной медведицей. Было несколько зимовок во льдах. 20 сентября 1919 года сплоченные льды окончательно преградили Амундсену путь на восток. Он решил, сколько возможно, все-таки пройти вперед, чтобы найти пристанище у мыса Шелагского, но как некогда не давался этот мыс ранним русским мореходам, так не дотянул до него и норвежец. 23 сентября он окончательно застрял, к своему великому неудовольствию, у острова Айон. «Вскоре мы открыли, что на острове есть туземцы, — пишет Амундсен в книге «Моя жизнь», — и приобрели у чукчей, как называются эти первобытные жители Сибири, большое количество мяса на зиму».

Здесь доктор Х. Свердруп, научный сотрудник экспедиции, решил использовать вынужденный простой для путешествия в глубь Сибири, точнее в глубь Чукотки, чтобы подробно ознакомиться с ее обитателями, исследовать их образ жизни. Для этого он выбрал наилучший вариант: примкнул к чукотскому племени и кочевал с ним сколько можно было, пока не пришла пора возвращаться на «Мод». Впоследствии он написал увлекательную и достоверную книгу о чукчах, основанную прежде всего на личных наблюдениях.

Несколько отступя от прямого рассказа об Амундсене, позволю себе возвратиться к дням, проведенным на острове Айон. Нет ничего удивительного в том, что, зная об этой ледовой эпопее Амундсена и его пребывании на острове,

мне захотелось посетить места зимовки экипажа. Но точных координат зимовки я не знал. А кто может знать скорее всего? Конечно, начальник полярной станции Николай Федорович Климов. Он здесь с 1965 года, стаж внушительный. Раньше, после окончания Ленинградского арктического училища, работал в бухте Провидения. В конце концов возникла необходимость, поскольку жизнь так или иначе связана с Арктикой, осесть где-нибудь прочно, имея максимум возможных здесь удобств. Все-таки семья, дети... трудно мотаться туда-сюда, да еще в таких широтах. Не из Воронежа в Тулу переехать. Сам-то, правда, смоленский, но Арктика — это на всю жизнь, Арктика так просто человека не отпускает.

Николай Федорович занимался вовсе не начальническим делом — копал во дворе станции траншею для неких нужд. Вид — самый простецкий. Пожаловался:

— Мерзлота. Вот уже сорок сантиметров, а все мерзлота. Между прочим, у нас тут бурильщики-геологи что-то искали, так говорят, даже на глубине трехсот метров еще мерзлота, тогда как считается, что предел ей — девяносто метров.

Отложив на время кирку, решил показать хозяйство. Сводил в локаторную. Чистота, порядок, четкий ритм дежурств. Махины счетно-вычислительных, фиксирующих данные погоды, устройств. Сюда поступают почти все сведения по радиозондированию атмосферы, все кривые и показания датчиков выдаются аппаратурой в готовом, суммированном виде.

Хороша «полярка» на острове Айон! А впрочем, «полярки» уютно устроены и обихожены почти на всем арктическом побережье и на ост-

ровах — люди здесь обживаются капитально, не на год и не на два. Это профессия, это образ и смысл жизни. И обычно «полярки» почти ни от кого не зависят. Вот и здесь: дизельная своя. Своя мастерская. Свой гараж. Мощный грузовик с почти девственной рифленостью скатов. Для чего? А воду возить, то, се. На всякий случай такая машина нужна. Ведь «полярка», как уже было сказано, обособленное от села хозяйство. Государство в государстве. Ну, скорее, автономия...

В блистающем чистотой салоне, именуемом здесь кают-компанией, — телевизор, ряды стульев. Стол для пинг-понга. Все условия для приятного отдыха. Здесь-то я, улучив минуту, и спросил у Николая Федоровича о стане Амундсена. В курсе ли он, слыхал ли?.. Ну, как не слыхать! Чувствуется, что и ему эта преемственность дорога — осознание, что остров как бы освящен незаурядностью проведшего здесь зимовку великого путешественника. Подробно описал ориентиры. Километров восемнадцать от села, на берегу пролива, который мы некогда форсировали на вездеходе.

Что ж, идти берегом, дорога знакома, вертолета в Певек не предвидится, потому как туман, — и на следующее утро я двинул на юг острова. Дымно-лиловый клубящийся туман то рассеивался, то уплотнялся, какой-то спорадический, не сплошной, очень холодный, знобящий. Комары, которых и без того мало, сразу исчезают, словно растворяются в нем.

Здесь, на Чукотке, мне еще почти не пришлось ходить пешком. Отвык. Даже эти восемнадцать километров даются с трудом, хотя и рюкзак, в сущности, полупустой, одни фотоаппараты да пара банок консервов. С непривычки

даже ноги натер, что уж и совсем непростительно.

Немо маячат на обрывах полярные совы — неподвижные и значительные, как скифские бабы где-нибудь в южных степях. Совы, совы... облезлый песец протявкал где-то на склоне кручи... нарядные евражки, выглядывающие из нор... один взбежал на серое бескорое бревно и спрятался за сучок — думает, не видно... а глаза шустрые, шустрые!

И никаких иных впечатлений за всю дорогу, до самого поворота к проливу. Здесь сразу обозначился впереди необозримый завал леса-выкидняка, гниющего в заплесках приливной воды, в болотистой жиже. А где посуше, такое впечатление, словно раскинулось гигантское кладбище неких доисторических тварей — выбеленно-сероватые кости, ребра, позвоночники, конечности, клыкастые челюсти... Только и следи, чтобы не поскользнуться, не вывихнуть ногу, перепрыгивая с бревна на бревно... Вдруг сиганул зайчишка откуда-то из-под стволов, осторожно-расчетливо попрыгал между сухих коряг и веретенообразных сучьев — как видно, и у зайца есть риск свернуть себе шею.

Немного спустя, обходя этот сатанинский завал с другой стороны в поиске точки съемки стана Амундсена, я снова выгнал серого бедолагу уже из другого укрытия. Отбежав подальше, он замер в недоумевающей стойке, уставился на меня словно бы с укоризной... видно, молодой, непуганый. Наконец, чтобы не испытывать судьбу, задал стрекача в тундру, на оперативный простор.

Впереди — охотничий домик. Близ него, как я понял из рассказа Климова, и находятся остатки землянок Амундсена. Случается здесь найти

стеклянные фляги, бутыли, патроны (если кто охоч до сувениров)... старые срубы я обнаружил на одной из возвышенностей, но ничего более, никаких предметов, которые можно было бы счесть за сувениры. Да и не за ними я пришел, в конечном счете. Искал определенный душевный настрой, растил в себе и лелеял чувство сопереживания, духовной общности с людьми Амундсена, что тут жили-бедовали. Да и сам он здесь же ходил, общался с чукчами, вел переговоры о снабжении экспедиции мясом, о других услугах... Вероятно, не просто ему было устанавливать контакты с чукчами, не зная их языка. Хотя здесь же, на острове, и русские охотники промышляли, в частности некий Мальков.

Словом, почему-то меня все это волнует, в силу каких-то глубоких причин, в силу, быть может, отдаленной сопричастности образу жизни и помыслам тех, что прошли здесь своим героическим выстраданным путем. Не волновало бы — не пришел бы, не стал бы ноги бить. Вот, может, вертолет в Певек на неделю-другую упустил из-за Амундсена. И все же пренебрег, пришел. Как бы очищаешься духовно в таких случаях, что ли...

Но, по-видимому, у каждого собственный взгляд на подобные вещи. Виктор Конецкий, дублер капитана в одном из арктических рейсов, в книге «Вчерашние заботы» повествует о том, как он съездил в поселок на Диксоне, чтобы подстричься, а потом три часа ждал обратного рейсового катера, греясь на солнышке, и размышлял, стоит ли пройти шестьсот метров до могилы Тессема или не стоит («И не пошел, чтобы не лгать самому себе, что, мол, мне идти туда охота»).

Уточню, о чем речь. Еще в первую зимовку

где-то в районе мыса Челюскин Амундсен отправил заболевшего матроса Тессема на родину в Норвегию. Его вызвался сопровождать штурман Кнудсен. Амундсен даже обрадовался: таким образом можно было быстро доставить в Норвегию почту. Хотя до острова Диксон было не менее 800 километров по льду, Амундсен считал своих людей достаточно закаленными для путешествий на Севере и не сомневался в успехе их перехода. Случилось, однако, непредвиденное: «Одного, — как сообщает Амундсен, — нашли мертвым вблизи острова Диксон. Второй пропал без вести».

В некотором роде подобная кончина прославила их. Впоследствии матросов неутомимо искали — и лишь год спустя был найден, по всем признакам, Кнудсен. Точнее, были обнаружены остатки костра и среди головешек — полуобуглившиеся кости и человеческий череп. А в 1922 году уже совсем недалеко от радиостанции на Диксоне обнаружили скелет в полуистлевшей одежде и в складках ее — золотые часы с выгравированным на них именем Тессема. Нашли здесь же и почту, состоявшую из донесений Амундсена, негативов, документов экспедиции, кроме того — хронометр и компас.

И по сей день никто не знает, какая именно трагедия разыгралась в этом полярном путешествии. И какие сложились отношения между Кнудсеном и Тессемом. Можно было строить догадки и предположения. Кроме того, уже давно ставится под сомнение самый факт, что в кострище были обнаружены останки именно Кнудсена (да и найденный череп как будто и не череп вовсе). По характеру находок вокруг можно скорее считать, что здесь побывали люди печально известной экспедиции Русанова, пропав-

шей во льдах еще в дореволюционные годы. И здесь они нашли свою кончину. Кнудсен, таким образом, исчез вообще бесследно. (По просьбе Норвежского института полярных исследований останки погибшего у Диксона норвержца были доставлены в Москву для всесторонней экспертизы. Исследованиями, проведенными сотрудниками Московского филиала Географического общества СССР и НИИ судебной медицины Минздрава СССР, установлено, что на Диксоне похоронен Тессем.)

Давно Тессему на Диксоне стоит памятник, являющийся местной достопримечательностью, постоянным напоминанием об одной из непрочитанных до конца страниц истории.

Можно, конечно, поразмышлять об этом лениво и вскользь, но, раз судьба занесла тебя в такое место, можно и молча, несустно постоять у могилы, речи и эмоции здесь необязательны.

Маюсь раздумьями такого рода и в домике, но уже несколько погодя, после ознакомления с обстановкой и укладом чужого охотничьего жилья. Еще Климов обнадежил меня, что жилье добротное и ничего лишнего брать с собой не нужно... Да, есть уголь для печки, дрова, кастрюли, сахар, макароны в ящике, индийский чай... даже папиросы... даже фарфоровый сервиз!

Погода портится, и боюсь, как бы я здесь не застрял. Боюсь, но не очень. На крайний случай есть кое-что и почитать. Неожиданная «встреча» с хорошо мне знакомым по камчатским маршрутам художником Мишей Беломлинским, проиллюстрировавшим детскую книжечку «С добрым утром, Чукотка!». Это больше для глаз. А вот и для души — «Последний поклон» В. Астафьева. Не беда, что читал, отдельные главы с удовольствием и перечитаю, они того стоят. А вот

еще на подоконнике измятая книжечка стихов. На титульном листе размашисто начертано: «Товарищи, мы уехали к Эйгынли, если кто придет». Той же рукой чуть ниже нарисован Пушкин, довольно похоже, если еще учесть, что срисовывать, кажется, было не с чего.

Близился к концу последний день якобы самого теплого в Арктике месяца — июля. В этом году он был беспробудно холодным. Да вот и сейчас... Боги словно бы почувствовали легкую дурноту от того, что вдруг, как солнечного зайчика, впервые за полмесяца выпустили из рукава нормальный денек. И прихлопнули этого зайчика уже к вечеру — в дом ударил плотный заряд упругого ветра, можно было ждать начала пресловутого южака. Но пошел дождь. Потолок потек. Как водится по закону пакостности, первые же капли начали падать в изголовье постели. Пришлось, едва смежив веки, срочно вставать и выбирать более надежное место для кровати. Долго потом не спал, прислушиваясь к обвальному грохоту дождя за стенами.

С утра дождь не унимается, плотный, изнурительный — лупит и лупит. Похоже, я захлопнут надолго. И еды в обрез, если не считать макарон и вермишели. Но хорошо, что нас двое: я и Астафьев. Есть еще недоразгаданные кем-то кроссворды в истерзанных «Огоньках»... Есть то, есть это...

И вот прочитано решительно все, настал черед выдергивать из-под фарфоровых чашек и кастрюлек разрозненные журнальные странички, употребленные на подстилку, и читать урывками то очерк, то побасенку, то — не прозревая начала, не чуя и конца — срединные главы нового романа Олдриджа «Прощай, не та Америка!».

Затем началось дотошное исследование потаенных углов и загашников в доме. В пристроечке обнаружил легчайшую ажурную нарту, обвязанную и прошитую ремешками, — не нарта, а прямо-таки дамское рукоделие. Ну, а остальное вряд ли могло привлечь внимание даже в обстановке ничегонеделания.

Гул дождя стал между тем настолько тугим и как-то знобко ощутимым, что заглушил даже надоедливый джордано-бруновский стук падающих с потолка капель. Хорошо, что вчера запасся водой — но насколько ее хватит? А впрочем, даже к чаю не тянет, — вода из ближнего болотца, и в чае неприятный портяночный привкус, не тот, что присущ пряному сыру «рокфор», а безвкусно-прелый... хотя хрен редьки не слаще.

Оставалось только бездумно смотреть в окно, захлестываемое ливнем. Однажды в стекло ударилась пуночка и как бы распласталась, царапая по нему крылышками, пока не увидела меня. Вспомнил, быть может, не совсем уместно: «И шестикрылый серафим на перепутье мне явился».

Вот уж истинно, что на перепутье. На перехлесте глобальных странствий Амундсена и порожденных обычной любознательностью моих тропинок.

Ну что же, если продолжить рассказ об Амундсене, то от Айона «Мод» пошла прямиком в Ном на Аляску, чтобы подремонтироваться. В Номе почти весь экипаж покинул судно, и на нем осталось всего четыре человека, а именно: сам Амундсен, известный уже нам доктор Свердруп, испытанный друг начальника экспедиции Вистинг и русский радист Геннадий Олонкин, принимавший участие в экспедиции, а позже —

частично и в полете дирижабля «Норвегия». И вот с таким мизерным экипажем (хотя каждый стоил многих) «Мод» возвратилась во льды к чукотскому побережью, чтобы продолжить плавание. И опять зимовка, связанная с поломкой винта у мыса Сердце-Камень, уже третья зимовка во льдах. По соседству с вмерзшим в лед судном стояли три чукотские яранги, с их обитателями члены экспедиции сошлись как нельзя лучше, это общение было обоюдополезным. Впоследствии Амундсен предложил пятерым чукчам принять участие в плавании, имея в виду трудности управления судном во льдах, когда поломан винт (предстояло отвести «Мод» на повторный ремонт в Сиэтл). Чукчи охотно согласились, их ответ глубоко тронул Амундсена: «Куда ты поедешь, туда мы поедем с тобой; все, что ты от нас потребуешь, мы исполним; только если ты прикажешь нам, чтобы мы себя убили, то мы попросим тебя повторить твой приказ».

Амундсен с большой похвалой отзывался об их прилежности: «Никакая работа не казалась им слишком трудной или утомительной. Во всяком положении они сохраняли спокойствие и бодрость».

Жаль, что на Айоне уже нет в живых чукчей, которые помнили бы Руаля Амундсена. Но общался он здесь не только с чукчами. Какие-то важные услуги оказывал ему здесь русский охотник Филат Мальков, житель Чаунской губы. В благодарность за это Амундсен подарил ему часы-хронометр. В тридцатые годы его сын Василий отдал эти часы геологу С. В. Обручеву, искавшему на Чаун-Чукотке олово. Ныне они экспонируются в музее Арктики в Ленинграде.

Что касается Василия Малькова, он умер не

так давно и похоронен на сельском кладбище. На столбике под стеклом фотография моложавого крепкого мужчины. Простое русское лицо, взгляд с прищуром. Умер он, правда, лет шестидесяти уже. Остались трое дочерей. Одна замужем в Ленинграде, две на Айоне. Среднюю по возрасту, Веру Васильевну Ильмычейвыну, я как-то навестил, попросил рассказать про отца. Отец ведь знаменитый охотник в этих краях был. Орден «Знак Почета», юбилейная Ленинская медаль, золотая и серебряная медали ВДНХ, ценные подарки, благодарности. И в газетах о нем писали, и в альманахе «На Севере дальнем»... Я полистал благодарности, хотелось бы почитать, что о Малькове пишут в альманахе, но в скудном архиве Веры Васильевны, санитарки местной больницы, матери пятерых детей, его не оказалось.

Вероятно, и Василий, еще мальчонкой, Амундсена видел, — как теперь узнаешь? Был человек — и вот только медали остались да еще по берегам одна-две охотничьих избушки, о каждой так и говорят: «Дом Малькова». Что ж, может, не так уж и мало — дать обогрев и отдых путнику. Тоже добром Малькова вспомнит, даром что и фамилия эта не каждому что-нибудь скажет.

Деяния Амундсена всем известны. А кому у нас не известен выдающийся геолог академик Обручев? Большинство его знает, впрочем, как автора увлекательных фантастических романов «Земля Санникова» и «Плутония». Речь, разумеется, о Владимире Обручеве. Но жил-был и Сергей Обручев, его сын, тоже выдающийся геолог, автор книг «По горам и тундрам Чукот-

ки», «В неизведанные края» и других. Как раз его-то жизнь и связана во многом с Чаун-Чукоткой, с Певеком. Поискам здесь олова он отдал много сил и энергии.

Начать с того, что Обручев приехал в совершенно неизведанный, необжитый, суровый край, где ему предстояло во многих направлениях пересечь заснеженную и завьюженную Чаун-Чукотку на аэросанях. Сам по себе опыт поездок на аэросанях, к тому же не весьма совершенных, в условиях высоких широт в нашей стране еще не был накоплен. Обручев в этом смысле стал пионером и мучеником (прямо сказать). Ибо аэросани постоянно ломались, и чинить их зачастую приходилось вдали от каких-либо хотя бы даже признаков жилья, посреди тундры, в трескучий мороз, а то и бросать и уходить в Певек пешком. Певек в зиму 1934/35 года насчитывал всего три избы, землянку и ряд круглых цилиндрических домиков, похожих, по словам Обручева, на некие «чудовищные грибы, продукт болотистой тундры». Главный их недостаток был в том, что они совершенно не держали тепла, тогда как конструировавшие их товарищи старались как раз найти способ тепло удержать. Экспедиция построила свою собственную избушку, тоже далекую от совершенства, но все-таки в ней можно было жить и на берегу Ледовитого океана, да еще и в зоне знаменитого певекского ветра-южака. Вся Чаунская впадина была фактически белым пятном на карте нашей родины, и лишь на востоке ее окаймляли горы, где текли загадочные притоки Чауна, положенные на карту полтораста лет назад еще Биллингсом, совершавшим свой знаменитый чукотский переход. Обручеву впервые с тех пор предстояло побывать во внутренних частях Чукотского хребта и уточ-

нить съемку Биллингса, особенно в тех ее местах, которые не уточнил сам же Обручев во время авиаполетов здесь годом-двумя раньше.

Аэросани были главной заботой, болью и надеждой экспедиции. Хотя именно эти самые аэросани предыдущий зимний сезон уже отработали на Новой Земле, пройдя проверку на прочность, Обручев не упускал из виду и трагедии известного географа Вегенера на ледниковом щите Гренландии. Там надежды на то, что аэросани выручат, оказались тщетными, и Вегенер погиб. Но в Гренландии работе аэросаней помешали чудовищные ветры, зарождающиеся в середине щита. И здесь, на Чаун-Чукотке, чтобы сдвинуть аэросани с места, сбегались чуть ли не все жители Певека, причем при полном безветрии. В тундре же, стоило только остановиться, раскачать их вновь двум-трем членам экипажа было почти не под силу. Но все же раскачивали, ехали! Потому что иного выхода просто не было... И, кстати сказать, удача экспедиции Обручева как раз и была предопределена наличием этих саней, на которых, при всех поломках и издержках, были покрыты огромные расстояния тундры. Расчет же на помощь оленных чукчей оказался несостоятельным, несмотря на все заверения Чаунского райисполкома. Чукчи-бедняки почти не имели оленей, а если у кого и был десяток-другой, все они были тощи и слабы. Богатеи, владевшие тысячными стадами, поначалу для отвода глаз соглашаясь помочь экспедиции оленями, в дальнейшем саботировали указания местных советских органов.

Тем не менее Обручеву удалось осуществить, по крайней мере, одну поездку с чукчами в глубинный район к загадочному озеру вулканического происхождения Эльгытгын, затерявшему-

ся в верховьях притоков Анадыря. Затерявшемуся — неточно сказано, поскольку это озеро, расположенное в кратере древнего вулкана, имело в поперечнике никак не менее двенадцати километров (а поперечник самой кратерной впадины — семнадцать километров).

И вот как раз подробный отчет об этой поездке с чукчами в глубь чукотских гор составляет наиболее яркую, глубоко познавательную часть его книги «По горам и тундрам Чукотки». Достаточно сказать, что если некогда Матюшкин не рискнул долго просидеть в пологе чукотской яранги на ярмарке в Островном, то сугубому интеллигенту Сергею Обручеву пришлось провести в нем много ночей. Поначалу он так же, как и Матюшкин, испытывал естественное чувство брезгливости к пологу и жизненному укладу в нем. Зато потом, когда чукча-хозяин однажды лишил его возможности ночевать в пологе и пришлось вместе с напарником коротать холодную ночь в палатке, Обручев в полной мере оценил достоинства полога в условиях кочевой жизни чукчи. И не только достоинства полога, но и целесообразность многих чукотских обычаев и бытовых навыков, которые у европейца с непривычки вызвали бы явное недоумение. Не буду перечислять здесь всех тех подробностей узнавания чуждого Обручеву, но весьма любопытного в смысле этнографическом, быта чукчей, которые он щедро живописует. Лучше переадресовать любознательного читателя к самой книге Обручева. В ней меня смутили лишь эпиграфы к отдельным главам, которыми с видимым удовольствием пользуется Обручев. Они подчас до смешного эклектичны (пожалуй, своеобразное следствие высокой культуры и начитанности автора) и выглядят как драгоценные камни в доб-

ротном, массивном, но все же грубом металлическом кольце. Обручев в самом деле был широко одарен литературно, что при высокой образованности, знании многих иностранных языков, эсперанто, увлечении театром, литературоведением не могло не привести его и к специальным работам в этой области, таким, как «К расшифровке десятой главы «Евгения Онегина», «Над тетрадями Лермонтова», «Анатоль Франс в халате и без» и др. Кажется, решительно все в этом мире волновало его пытливый ум, требовало личного осмысления того или иного явления, проблемы. Можно привести наугад несколько названий из огромного списка его опубликованных работ: «Русские поморы на Шпицбергене в XV веке и что написал о них в 1493 г. нюрнбергский врач», «Массовая гибель китов у берегов Аргентины», «Астрономические сооружения жителей древнего Перу», наконец, «Современное состояние вопроса о «снежном человеке»... Обручев писал и стихи. Не говоря уже о записках путешественника-исследователя, составивших несколько книг, ценных самих по себе, мечтал, видимо, и о написании романа в духе тех, что были уже созданы его отцом. Да он и сам прямо признается в этом, видя перед собой величественный кратер Эльгытгына и покрытое снегом озеро внизу: «Странное, жуткое место! Когда я буду писать роман о жизни на Луне, я помещу своих героев в такой кратер». Но — времени для написания этого романа у него не хватило. Да и сюжет с жизнью в кратере либо кальдере вулкана — правда, не на Луне — уже был использован его отцом (пользовались им и другие писатели-фантасты и позже).

Главную роль Сергей Обручев сыграл, понятное дело, не в изящной словесности. Веское

свое слово он сказал как геолог и географ. Ему принадлежат открытия, которых с лихвой хватило бы на несколько жизней и на нескольких человек. Не будем растекаться мыслью по его насыщенной первопроходческой деятельностью биографии, скажем лишь о четырех из этих открытий, касающихся в основном Арктики и Субарктики. Во-первых, это открытие на Среднесибирском плоскогорье огромного угленосного Тунгусского бассейна. Впоследствии он писал об этом: «Я могу гордиться, что моя гипотеза о Тунгусском бассейне и выводы о его геологическом строении оказались удачными и плодотворными и что моя первая геологическая работа дала результаты, полезные для нашей Родины». Это открытие, которому принадлежит будущее, — в том смысле, что гигантское Тунгусское месторождение угля остается пока еще нетронутым. Это, можно сказать, стратегический резерв нашей энергетики.

Затем Обручев и его спутник картограф-геодезист К. А. Салищев, сплавляясь в двадцатые годы на лодках и всякого рода «ветках» вниз по Индигирке, по местам опять же неизведанным и неисследованным, открыли ни много ни мало целый горный хребет, которому дали имя Черского. Открытие выдающееся в плане географическом, тем более что случилось это в двадцатом веке, когда, казалось бы, на карте нашей страны уж что-что, а горные хребты стояли каждый на своем месте и все были заметны. А хребет Черского оказался к тому же самым высоким в Северной Сибири. Что тем не менее не мешало ему оставаться «незамеченным» на протяжении многих веков. И где? В местности, где предполагалась низменность! Результат достаточно романтический, как вскользь заметил сам Обру-

чев в книге «В неведомых горах Якутии (Открытие хребта Черского)», изданной еще в 1928 году.

Обручев доказал, что полюс холода находится не в Верхоянске, как считалось раньше, а в Оймяконе.

Теоретически он доказал на основе своих наблюдений существование в среднем течении Колымы жесткого древнего массива земной коры, который назвал Колымской платформой.

Наконец, тщательнейшим образом, да еще и зимой, исследовав Чаун-Чукотку, он привел доказательства существования там богатых оловорудных месторождений. Это обусловило бурное экономическое развитие всего Чукотского национального округа, а не только побережья Чаунской губы. За этот научный подвиг ему была присуждена Государственная премия первой степени.

Здесь перечислены основные вехи биографии С. В. Обручева. А ведь можно было бы много еще говорить об его общественной деятельности, о ранних и тоже плодотворных путешествиях, об экспедиции на Шпицберген, о разнообразном другом... но не забудем, что разговор об С. В. Обручеве мы начали с хронометра, подаренного Амундсеном охотнику Филату Малькову и затем попавшего в число экспонатов музея Арктики в городе Ленинграде. Этот хронометр с прямо-таки логической закономерностью побывал именно в руках Обручева, прежде чем занять подобающее ему место на музейном стенде. Но не забудем, опять же, что время не стоит на месте, и другой хронометр, некий условный хронометр каждого прожитого нами дня, отсчитывает свои секунды, в жизнь приходят новые герои и труженики, не обязательно выдаю-

щиеся географы и геологи, но люди, я бы сказал, постоянного и незаметного подвига. Таким человеком был и Наум Филиппович Пугачев, с которым, по-видимому, Обручев общался не так часто, потому что упомянул в своей книге лишь раз и мимоходом.

Пугачев приехал на Чукотку всего за год до появления здесь экспедиции Обручева, приехал с задачей внедрять на этой окраине Советскую власть, ее законоположения, ее новое, гуманное к малым народностям, отношение, привлекать эти народности, в частности чукчей, к всеобщей социалистической стройке. Между тем человек он был не семи пядей во лбу, не семижильный. Низкого роста, щупловатый...

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПУГАЧЕВ

Не семи пядей, не семижильный, но слава о нем здесь осталась как о личности легендарной. Почему? Что ж, проследим его жизнь от самых истоков. Родился Пугачев в 1905 году в бедной крестьянской семье. Что такое лишения, тяжелый труд, недоедание, он знал еще сызмалу... Но юность его пришлась как раз на первые годы становления и упрочения Советской власти. Влекло в город, в промышленность, к пролетариям, в конечном счете, к знаниям, к свету. Работал на строительстве железных дорог и забойщиком в угольных шахтах,— легкой жизни, как видим, не искал, этого сроду не было в его натуре. Трудно сказать, где и как он учился, из поля зрения его биографов эта пора как-то выпадает, но грамоту он, безусловно, знал. Вступив в комсомол, был у себя на шахте активным

пропагандистом в партийно-комсомольской сети просвещения. В партию вступил уже в армии, вероятно, в 1927 году. Был членом парткома полка и депутатом Бердичевского горисполкома, — не тогда ли еще он усваивал науку советского, партийного руководства, копил опыт общения с людьми, постигал умение находить к каждому из них свою тропинку?

Ко времени его демобилизации разразился конфликт на КВЖД. Необжитые районы Дальнего Востока надо было заселять и осваивать. Таков был призыв партии. Решено было ехать, заселять, укреплять. Земля-то нашенская! На дивизионном собрании коммунисты избрали Пугачева председателем будущего, можно сказать сплошь красноармейского колхоза. И этот колхоз, которому дали имя Реввоенсовета, был действительно создан в Черниговском районе Приморья. Неспокойная земля, неспокойное время, опасная близость границы... В Пугачева стреляли, когда он спал на сдвинутых столах в конторе, колхозников обстреливали в поле на уборке урожая. Спасаясь от преследования бандитов, Пугачев был вынужден однажды броситься в реку, бурное течение которой и наступившая темнота выручили его и спасли. Словом, тут решался давний классовый спор, решался когда убеждением и примером, а когда и силой, с оружием в руках.

Но надо было учиться. Пугачев ощущал в себе нерастраченный запас сил и возможностей, однако начальной политграмоты и азов кое-как усвоенных общественных и естественных наук было маловато для дальнейшего роста. Он поступает в Далькомвуз, который, правда, так и не пришлось закончить — вызвали в крайком и предложили возглавить райком партии во вновь

организуемом отдаленном Чаунском районе на Чукотке. Сказали, что придется начинать буквально с нуля. Что, конечно, помогут, но более рассчитывать нужно на собственные силы и на помощь местного населения. Что там тоже классовая борьба. Что неграмотные, темные, забитые чукчи. Которых, конечно, надо учить, воспитывать в них равноправных строителей социализма в стране. И что, конечно, такая работа не всякому по плечу, это высокая честь и высокое доверие. На Пугачева надеются. Верят, что он одолеет все трудности и справится с порученным ему делом.

Выбор крайкома оказался безошибочным, хотя, конечно, трудно было тогда, в Хабаровске, предвидеть это в полной мере. Но Пугачева все-таки уже знали!

В августе 1933 года он сошел с парохода «Лейтенант Шмидт» на берег Чаунской губы. Сошел не один — с ним была семья: жена, трое сыновей мал мала меньше и престарелый отец. С тоской посмотрел на единственный хилый домик — факторию Союзпушнины, на какие-то чахлые подслеповатые землянки вокруг... Поодаль виднелись несколько чукотских яранг. Тяжело вздохнул: что ж, надо приниматься за работу, каждодневную и упорную, до пота, до крови. Но прежде всего — устроиться бы с жильем, дети ведь у него, сам-то уж как-нибудь... Начал с землянки, долбил мерзлую землю до мельтешения в глазах. Со временем возвел над ней подобие дощатой избы, обложил все это шаткое сооружение дерном. Именно эта постройка в несколько ближайших лет была тем штабом, откуда направлялась и организовывалась вся трудовая и культурная жизнь района. Сам Пугачев так писал о том периоде: «Совсем не знаем района, не

знаем нравов, обрядов, обычаев населения, их хозяйства, быта, не знаем чукотского языка, нет переводчиков, нет ни одного грамотного чукчи. По существу, нет ни района, ни его центра».

Все это нужно было создать, попутно борясь с многовековой отсталостью коренного населения. Как угодно, используя любую доходчивую методику, но учить чукчей грамоте, а попутно учиться и у них — учиться чукотскому языку, присматриваться к особенностям их жизни на Севере, к выработанным поколениями навыкам хозяйствования и бытового уклада. Первым делом, испытывая противодействие кое-кого из местной интеллигенции, он организует кочевые школы с производственным уклоном, посылает учителей в тундру, к чукчам-оленеводам... Опять же — как учить? Тогда алфавиты многих народностей Севера, в том числе и чукотский, были составлены на латинской основе. Коммунисты Чаунского района, содействуя созданию чукотской письменности, в то же время резко выступали против ее латинизации. На первом пленуме Чаунского райисполкома в конце 1933 года Пугачев прямо заявил: «Практика в школах показывает, что латинизация пользы не дает, она только отдаляет людей от русского алфавита, а следовательно, от советского. И я искренне сочувствую комсомольцу Кергитагину, который говорил, что он хочет учить советскую азбуку (советский алфавит), а азбуку буржуазную не будет (он латинские буквы называет буржуазными). А почему так? Потому что на всех товарах купца Свенсона латинизированные подписи по-американски, а он торговал, как вам известно, до 1930 года. Правы комсомольцы, когда требуют изучать русский алфавит». Он говорил, а переводчиками у него были трое чукчей, кое-

как, в первом приближении, освоивших русский язык, один из них предисполкома Тынкай (Тыккай?) и уже знакомый нам Филат Мальков.

Где учить? Как учить? Кто будет учить, когда в районе всего два учителя с образованием, а двое — просто более или менее грамотные люди, ставшие учителями по острой необходимости? Где взять в достаточном количестве учебники, бумагу, ручки, карандаши? «Ведь ученики пишут свинцовыми пулями от мелкокалиберных винтовок», — говорил Пугачев на том же пленуме.

В то же время нужно было побороть предрассудки населения, противодействие шаманов, настраивающих родителей против школы, четко выявить, кто из шаманов действительно враг новому порядку вещей в тундре, а кто скорее друг, чем враг... Это убедительно показал в своем романе «Белый шаман», удостоенном Государственной премии РСФСР, Николай Шундик. Были ведь шаманы, исходящие из злого начала в себе, из ненависти ко всему новому, что принесли в тундру большевики, и были «белые», добрые, совестливые, шаманство которых шло человеку на пользу — в тех пределах, в которых оно способно было приносить ее по своей природе. Ибо институт шаманства вовсе не так прост и однозначно вредоносен, как утверждали еще до недавнего времени иные наши социологи и вульгарные атеисты. Многие шаманы действительно обладали гипнозом, пользовались его лечебной силой. Успешно врачевали они соплеменников и так называемыми средствами народной медицины, как ни мало дает этих средств чахлая флора Севера, трудные условия жизни за Полярным кругом.

А саботаж, косность иных русских работни-

ков, которые, как говорится, все науки превзошли, от которых здесь многого ждали, но только не жульничества, стяжательства и недобросовестности? «Нет, — заявлял им в лицо Пугачев, — жуликам и проходимцам не удастся своими антисоветскими действиями настраивать людей против Советской власти. Я скорее умру, чем допущу это».

Не отстраненно, не вообще, а все, все — через себя, как личную неудачу, личную обиду, личную беду, но и личную радость, личную победу. Так жил и действовал здесь Пугачев, человек с обостренным социальным и политическим чутьем, предвидевший заранее многое из того, что партия в будущем привнесет в жизнь народов Севера, что она еще только разрабатывала в своих проектах и наметках. Он смело и без оглядки на иных расчетливых деляг, любителей голого администрирования, выступил против создания оленеводческих артелей на Чукотке. Он заявил, что при нынешней отсталости чукчей это преждевременно. И лучше для начала организовать товарищества по совместному выпасу оленей. Простейшие объединения. Лучше не спешить, не форсировать коллективизации. То есть, по существу, он возражал против искривлений политики партии в колхозном движении, вызванных пресловутым «головокружением от успехов».

И от слов перешел к делу: «После восьми собраний и сорока индивидуальных бесед нам удалось создать товарищество по совместной добыче и охоте из девяти хозяйств. Силами работников райкома построили лодку, связали невод и отдали товариществу. Научили чукчей строить и совместно построили дом для председателя товарищества Укульхина. Потом все чукчи това-

рищества гордились домом как своим собственным творением».

Вот как это было. «Силами работников райкома построили лодку, связали невод...» И еще одна весьма важная забота легла на плечи первого секретаря — это необходимость всячески содействовать успешной работе геологических партий, изучающих Чаун-тундру и предгорья вокруг на предмет выявления все новых и новых месторождений олова. Уже явственно вырисовывались громадные контуры промышленного предприятия, начало которому своими находками «оловянного камня» — касситерита положил Сергей Обручев. В Певек одна за другой приезжают экспедиции Н. И. Сафронова, М. И. Рохлина, их нужно было обеспечивать транспортом, то есть оленями и собаками, теплой зимней одеждой, продуктами... И если во времена экспедиции Обручева богатые чукчи, да и середняки, не очень-то охотно шли на сотрудничество с геологами и властями, а подчас и саботировали их работу, то год-два спустя положение стало меняться, теряли свою силу и влияние богачи-оленеводы, росли самосознание и политическая грамотность простых чукчей. Они уже четко могли распознать, кто есть кто. Лет пять спустя после приезда Пугачева на одном из пленумов Чаунского райисполкома чукчи-активисты вели уже такие речи: «Мы на местах обязаны помогать экспедиции, так как это наше общее дело»; «Работа экспедиции очень тяжелая, особенно зимой, на холоде, в камнях. Все это требует хороших условий»; «Чукчи хотят, чтобы экспедиция осталась работать еще на год. Мы уже знаем людей, и нам и им легче будет работать вместе. Кенето и Лейвукай знают месторождение очень тяжелых камней в Эльвунее, надо было бы посмот-

реть их специалистам экспедиции, наверное, там есть олово»; «Меховую одежду надо готовить летом, это легче будет сделать. Население поможет».

Предстояло глубокое промышленное освоение Чаун-Чукотки, и чукчи понимали, что вскоре их край станет неузнаваемым, что в его недрах таятся громадные богатства и от их разработки зависит развитие культуры и благосостояния во всем крае.

Олово было нужно стране, быть может, не меньше золота. Пугачев неутомимо пересекал на оленях и собаках огромные пространства вверенного его руководству района, ночевал в дымных ярангах, в снегу, у походного костра и где только мог показывал чукчам образцы касситерита — оловянной руды, на которую они должны обращать внимание в своих кочевках с оленями в тундре. Пугачев и сам в одной из поездок по реке Алькаквунь нашел «белый кварц с крупными кристаллами темного, почти черного касситерита». Превосходный образец!

Был он прост, скромен, доступен, душевен — и вскоре завоевал немалый авторитет среди чукчей. Особенно в роли своеобразного третейского судьи, разрешающего все сложные споры и конфликты между чукчами и нерадивыми администраторами, а то и внутриплеменные, семейные раздоры... Но нельзя сказать, что такое отношение к нему было повсеместным в тундре. Везде и всюду авторитет приходилось завоевывать по крупицам, исподволь, далеко не сразу. И не просто громкими словами и разглагольствованиями. Чукчи вообще не терпят громко говорящих людей, считая их суетливыми и несерьезными. Можно ведь решительно обо всем договориться тихо и спокойно.

Н. Ф. Пугачев неоднократно выступал в печати, в 1938 году его статья «Чаун стал передовым районом» была опубликована в журнале «Советская Арктика». Чуть позже в Хабаровске вышла его книга «Чукотские рассказы», любопытная подробностями, но прежде всего — как свидетельство очевидца, очевидца и участника немаловажных перемен в жизни и быту чукчей. Не так давно она была переиздана в Магадане. Я бы не назвал эти рассказы «прекрасными», как это сделал в творческом запале в статье «Нравственная высота партийного работника» Николай Шундик. Для меня они уже тем хороши, что верно передают приметы времени, ломку привычных представлений в сознании простого чукчи. Да, да, безыскусные простые рассказы, иногда с попыткой создать сюжетно завершенное художественное произведение, иногда без оной, — бесхитростный отчет-репортаж о событии, происшествии (например, «В пути»; описан случай, когда Пугачев, добираясь до некоего селения, чуть не замерз). Серьезнее рассказ «Посрамление шамана». Речь идет о самонадеянном, уверенном в своем могуществе шамане, который, исчерпав все доводы в споре с Пугачевым, предложил ему бороться и таким образом решить, на чьей стороне правда. Причем шаман не ожидал от некрепкого с виду русского начальника упорного сопротивления и заранее торжествовал победу. «Я знал, — пишет Пугачев, — что отказаться от борьбы — быть побежденным и неправым. А кому нужен побежденный и неправый человек?! ...Шаман был человеком немалой физической силы. Но он был глуп, и я поборол его. Уязвленный Элитлелин вскочил на ноги, и мы снова схватились. На этот раз я так сильно бросил его в снег, что он не сразу поднялся».

Чтобы не возвращаться более к «Чукотским рассказам», следует отметить у их автора и умение видеть мир образно, поэтически. Ведь просто хорошо сказано, например, что «ночь приоткрыла проморожснные седые веки свои...». Но прежде чем было сказано, не раз было прочувствовано, вот ведь что придает особую значимость и окраску его незамысловатым пробам пера.

В уже упоминавшейся статье, опубликованной в свое время в журнале «Коммунист», Николай Шундик, знавший Пугачева не понаслышке, делится воспоминаниями о первой встрече с ним: «Нам, молодым учителям... в райкоме он сказал: «Вы здесь увидите удивительное переплетение нового и старого. Не думайте, что пережитки, отжившие обычаи можно уничтожить мановением волшебной палочки, к тому же внимательно приглядитесь: все ли обычаи надо считать отжившими, уверяю вас, есть и такие, которыми вы восхититесь. Вы будете работать среди народа своеобычного, гордого, доброго, поэтичного, доверчивого. Как это будет бесчеловечно, если вы доверчивость эту хоть в чем-нибудь обманете». И — далее: «На моих глазах Наум Филиппович заставил краснеть от стыда слишком ретивого искоренителя «вредной старины» в быту чукчей. Сей деятель отобрал у старого оленевода амулеты, которые, по представлению старика, оберегали очаг. Деятеля этого чукчи прозвали «человек, у носа пальцем машущий». Терпеть не мог Пугачев любителей этого «выразительного», как мы сейчас сказали бы, «волевого» жеста. Он неутомимо проводил нашу ленинскую национальную политику — политику истинных просветителей и преобразователей-интернационалистов, не мирясь с нравственной глухотой

карьеристов, людей спесивых, лишенных чувства такта».

Шундик приехал на Чукотку всего лишь четыре года спустя после работ экспедиции Обручева. Многое из того, что он здесь испытал и пережил, будучи учителем кочевой школы, описано им в документальной повести «На Севере дальнем». Но я сейчас не о том. Когда читал впервые его роман «Быстроногий олень», я еще не был знаком с Чукоткой, ничего не слышал о Пугачеве и образ секретаря райкома Ковалева в этом романе воспринимал чисто беллетристически, без оглядки на реально существовавший прототип. Сейчас же, кое-что зная о Пугачеве, представляя его мысленно, не скажу, что Ковалев в романе — безусловная удача писателя. Нет, далеко не безусловная. Его секретарь райкома — фигура плоскостная, одномерная. Он без недостатков и слабостей, без семьи, а стало быть, и без личной жизни (есть жена, появляющаяся в романе мельком и ничего не решающая в сюжетном его движении), без проблем, которые семейная жизнь неизбежно ставит перед каждым человеком, а в условиях Чукотки тем более остро. Секретарь Ковалев все делает правильно. Он не ошибается. Он почти не способен страдать. Он всегда ясен и всегда все знает (изучил и чукотский язык, что, впрочем, отвечает правде жизни и правде образа). А может ли так уж привлечь читателя и полюбиться ему образ коммуниста с явными чертами иконописности во внешности и поступках? Меня он, правду сказать, не увлек (при всем том, разумеется, что в целом роман интересен и своеобычен). Мне бы увидеть, как поведет себя такой Ковалев, окажись у него на руках трое детей и престарелый отец, и как при столь неистовой мужниной увле-

ченности делом и только делом поведет себя жена? Будет ли она ему во всех начинаниях помощником и другом или же, наоборот, даст повод говорить о семейной драме? Ну хорошо, речь все же о литературном герое. Странно другое. Странно, что и Пугачев во плоти в статье Шундика ничем не отличается от книжного своего двойника. Странно, что такой же «книжный» он и во многих иных свидетельствах и документах о нем. И все же что-то тут не так, не вся это правда о Пугачеве. Ибо мы имеем дело с человеком — не только с коммунистом (а где-то на страницах свидетельств он выглядит и фанатиком). Мы ведем речь о человеке, обремененном семьей и заботами, живом и уязвимом. Пугачев сам отчасти развенчивает легенду о себе — легенду, созданную уже историками и писателями в более поздние годы.

В 1938 году он впервые выехал с семьей в отпуск. Впоследствии ему предложили работу инструктора в Хабаровском крайкоме (куратор по Чукотке). Летом 1940 года с группой совпартработников он побывал поэтому на Чукотке вновь, сумел заскочить и в Певек. Там вовсю шло строительство рудников, Чаун-Чукотка готовилась к первому съему промышленного олова. Пугачев гордился тем, что происходит на земле, недавно еще бывшей полярной пустыней. Он по-прежнему недоволен только собой — он хочет учиться, боится отстать от жизни, ведь ее так мало отпущено каждому из нас, а столько мечтается совершить. По возвращении пишет секретарю крайкома заявление, которое нельзя воспринимать иначе как крик человека в чем-то непонятого и недооцененного. «Четвертый раз обращаюсь с просьбой отпустить меня на учебу в Институт народов Севера им. Герцена на чу-

котское отделение. Считаю неправильным и не могу примириться с тем, что мне нет возможности учиться.

Я хорошо знал уголь, меня перебросили в 1930 году на сельское хозяйство, когда освоил его и хотел работать здесь (то есть в Приморском крае. — *Л. П.*), меня... в 1933 году послали осваивать Чукотку — организовывать Советскую власть... Почти пять лет работал на Чукотке... Сам строил себе жилье, собирал по берегу моря топливо, замерзал в тундре и утопал в тундре, но трудности меня не победили...

Пришлось упорно заниматься чукотским языком, и вот, когда я освоил его, когда изучил быт, нравы, обычаи, наклонности, предрассудки, обстановку, когда выросли новые кадры советских и комсомольских работников, я прошусь отправить меня на учебу с тем, чтобы, вернувшись, продолжать работу на Чукотке.

Меня на учебу не пускают, а переключают заниматься другими районами...

Я отдал часть самой замечательной жизни на освоение Чукотки. Она мне стала родной, близкой, любимой. На свете нет силы, которая заставит меня отказаться заниматься Чукоткой. Вот и прошу Вас... разрешить мне учиться в институте им. Герцена.

Инструктор крайкома *Н. Пугачев.*
27 мая 1940 г.»

За этими словами жизнь человека и боль человека.

А учиться его все же не отпустили. При любых условиях — не думаю, чтобы это было разумное решение. Ведь в гражданскую войну — и то, смотришь, красных командиров, даже в боль-

ших чинах, отзывали с фронта для учебы в академии.

Пугачеву было в ту пору 35 лет.

Через год гитлеровские орды вторглись в нашу страну. Пугачев стремится на фронт. Но и на фронт его не отпустили, хотя тут-то, конечно, был четкий резон. А послали опять... в Певек!

В Певек Пугачев ехать уже не хотел. И это его нежелание возвратиться в край, где прошли самые напряженные годы жизни, где остались друзья по работе, где все было знакомо, по-человечески можно понять, оно отнюдь не противоречит его же собственным словам о том, что Чукотку он полюбил на всю жизнь.

— Я был в прошлом году в Певеке, — заявил он в крайкоме, — и знаю, что в этом году уже вступают в строй горные предприятия. Думаю, там и без меня уже обойдутся. Там есть хорошие кадры, способные выполнить поставленные партией задачи.

Если говорить о Чукотке, ему больше было по душе начинать работу с нуля, на новом месте, с новыми людьми, в необжитом крае. Но в нем было высоко развито чувство долга, как коммунист, он должен был подчиниться решению крайкома партии. Как человек — снова был обижен, не понят. Товарищи из крайкома, возможно, судили с иных позиций. Фронту необходимо было олово. Нужда в нем была самая острая, первостепенная. Видный дальневосточный руководитель Э. П. Берзин, выступая на одной из партийных конференций Дальстроя, сказал еще за несколько лет до начала войны: «На Дальстрой возложена задача найти и добыть олово на Колыме... Наша страна нуждается в олове, за границей нам его не продают, а если и продают, то в мизерных количествах... Нам дорога

каждая тонна... В других местах Союза, где сейчас добывается олово, его так мало, что это слезы. Стране нужно много, очень много олова, ибо его в Союзе нет».

Предстояло как можно скорее сдать в производство оловянные рудники на Чаун-Чукотке. Уже шла война, и медлить нельзя было ни единого дня. Сдать эти рудники в срок, и даже раньше срока, вероятно, мог лишь человек с характером и волей Пугачева, с его знанием людей и района. Да, пожалуй, в обстановке военного времени иного решения здесь быть не могло — и Пугачев возвратился в Певек. Он не спит ночами, он мотается по тундре, он беседует с людьми, он почти постоянный гость на Валькумейском (рядом с Певеком) руднике, на руднике в Красноармейске. Олово, олово! Но не только. Нужны теплые вещи для фронта (стало быть, давай стимулируй охоту на песцов, разъясняй охотникам-чукчам особенности момента, необходимость работать самоотверженней и напряженней)... И опять поездки в любую погоду, еда всухомятку, частые простуды — и притом никакого отдыха, жизнь без послаблений, воистину на одном дыхании. Он заболевает, а лечиться все некогда, некогда!

Летом 1942 года Пугачев слег окончательно. Его срочно нужно было отправлять в Магадан, где единственно возможна была квалифицированная медицинская помощь. Он упирался, спорил, доказывал нелепость этой поездки в то время, когда столько забот и тревог, когда идет такая война. Местные врачи были неумолимы, неумолима была болезнь, и Пугачева вывезли самолетом в Магадан. Однако было уже поздно. Он скончался в расцвете жизни, в возрасте тридцати семи лет.

Это, безусловно, яркая личность — и личность, безусловно, легендарная. В масштабах Чаун-Чукотки Пугачев был тем, кем был для нефтяников Баку, для горняков Хибин, для трудящихся Ленинграда Киров. Здесь я не ставлю знака равенства — просто говорю о той большевистской стойкости и убежденности, которая была присуща этим людям. И о человечности, которая была им присуща в высокой степени...

Не потому ли так хорошо говорят и думают в Певеке о Науме Филипповиче Пугачеве? История Чаун-Чукотки, ее промышленного развития, неразрывно связана с именем и неутомимой деятельностью этого гражданина своей великой родины.

И ОЛОВО, И КАМНИ СЕРДОЛИКИ

В ПЕВЕКЕ

Надо сказать, что из всего моего более или менее продолжительного пребывания на Чаун-Чукотке я едва ли не месяц сидел в Певеке. Конечно, я всегда стремился уехать куда-нибудь «в глубинку», но не всегда это удавалось.

Была середина лета. Город напряженно ждал с Берингова пролива каравана, точнее — уже от Мыса Шмидта. Вот-вот, вот-вот! Но ледовая обстановка в этом году складывалась крайне неудачно. В бухту, чуть было заблиставшую бликами чистой воды, снова нагнало льда. Похолодало. В целом температура июля была на гра-

дус ниже, чем обычно в эту пору. Казалось бы, какая ерунда — один градус! Но, надо полагать, не для Ледовитого океана. Ходят слухи, что какой-то из транспортов получил пробоину и вынужден был возвратиться. Капитан одного из ледоколов, пробивающих дорогу каравану, отмахивался по радио от роя вопросов: «Да я-то к вам пройду, но ведь не я вам нужен, вам грузы нужны. Говорю вам, ничего не можем сделать: льды после нас сразу же сходятся намертво, сжатие».

Здесь уныло вспоминают, что в прошлом июле транспорты уже разгружались, в магазинах разнообразные товары, свежие фрукты... А в 1967 году и вовсе первое судно пришло в Певек 9 июня! Что-то толкуют о периоде высокой солнечной активности, мешающей точным прогнозам ледовой обстановки. Наконец 12 или 13 июля в бухту неторопливо входят сперва ледоколы «Ермак» и «Владивосток», этакие широко- и белогрудые красавцы, а за ними вразнобой (у каждого своя очередь на разгрузку у причала, толкаться-то зачем?) цепочка транспортов.

Чем ближе к порту, тем плотнее пестрит берег людьми. Пришельцев рассматривают в бинокли, пускают навстречу им гирлянды ракет... В самом порту многолюдный митинг, гремит музыка — не поймешь, чья и откуда... Капитану судна «Пионер Киргизии», которое первым ошвартовалось у причала, был вручен портовиками символический ключ «от самого северного в стране города».

В Певеке оживленно и нарядно, на улицах появляются толпы моряков. Казалось бы, идиллия, мир и взаимопонимание. Однако, по-видимому, не всегда. Приходилось слышать жалобы (преимущественно от женщин) на поведение

моряков с ледоколов и транспортов... и пьют, и хулиганят... а пуще всего жаль — ромашки охапками рвут. К ромашкам здесь отношение священное — точно такое же, как к лотосу в Индии. И здесь даже больше оснований для культа ромашки: других цветов что-то не видно, да и ромашка прежде не росла, это уже влияние человека на природу: посеяли, относились трепетно, не топтали... ведь не на чем больше глазу отдохнуть даже летом. Земля почти повсюду откровенно неприкрыта, и ее нагота черна, камениста, неприютна... Особенно это бросается в глаза на стадионе: его прямоугольник даже на взгляд шероховат от мелкой щебенки, но одно дело видеть ее, другое — на эту щебенку падать. Падают! Вот что такое тоска по зрелищам, желание, чтобы все было здесь так же, как на материке. У вас футбол — и у нас футбол! В угоду этому общему желанию футболисты себя не щадят: бегают черные, страшные, перепачканные словно бы угольной пылью.

Зауважаешь и ромашку!

Да еще эти проклятые ветра. Само по себе любопытно, что здесь опасаются не столько ветров северных румбов, сколько южного... Южак — ветер типа многократно описанной новороссийской боры, его рождает рельеф района. Чаунская губа и речная долина между горами создают удобный естественный желоб длиной более двухсот километров для сваливания по нему воздушных потоков. Стоит лишь упасть над Восточно-Чукотским морем давлению, как более плотный воздух материка устремляется в этот желоб и мчится, все набирая и набирая скорость, словно с горки на саночках. А тут и впрямь перед самым Певеком вырастает метров под семьсот «горка» — ну, и начинается рев, вой и

карусель. Чуть загодя до этого явления над сопкой зависает одинокое белесое облачко, которое во времена Обручева называли «цеппелином» (живы были еще воспоминания об империалистической войне), иногда же сопочку обволакивал этакий белесый нимб... В город южак сваливается с этой сопки со страшной, иногда катастрофической силой. Разговоров и толков о нем много (в том числе и в литературе), но задним числом видится больше смешное, чем тревожное, устная молва нередко на эту тему и анекдоты рождает. Допустим, как некоего, в явном подпитии, мужичка выгнало южаком на лед бухты, и он, будучи не в силах остановиться, бежал с криком: «Не хочу! Не хочу!» Судьба этого забулдыги в анекдоте не прослеживается. Да и чему удивляться — пьяного и без ветра угонит туда, где Макар телят не пасет. Обстоятельно о норове этого ветра, испытанного на собственной шкуре, поведал мне один случайный молодой человек, с которым я коротал время в очереди к парикмахеру:

— Я тогда еще неопытный был, только приехал сюда, — почувствовав благодарного слушателя, начал он. — Местные-то все признаки надвигающегося южака знают, по облакам там, по завихрениям разным... Ну, говорят мне, — я в быткомбинате по ремонту холодильников и прочего такого работаю, — говорят, ты что сидишь, кончай шурупы завинчивать, беги домой, потом не выберешься. А я никак не усеку. Потом все же вышел — а из-за угла строящейся аптеки кто-то вроде как подскочил, меня грубо за плечи развернул на сто восемьдесят и коленкой поддал. Я и пополз натурально на четвереньках. Но так ничего и не понял, думаю, что еще за шуточки! И опять тем же манером — к углу аптеки. Ну,

меня опять развернуло и швырнуло уже бог знает куда, да так, что я несколько метров по воздуху летел и шмякнулся в какую-то изгородь, забранную сеткой. В то же время вижу боковым зрением, по деревянному коробу, в котором вся наша водопроводная и прочая система, люди идут. Правда, согнувшись в три погибели, но все же идут, а я никак не могу этого короба достигнуть. Дело в том, что между двумя строящимися домами, аптекой и гостиницей, какие-то еще местные завихрения были, тяга, как в аэродинамической трубе. Лишь с четвертой попытки, уже оставив порочную тактику преодоления южака штурмом из-за угла аптеки, я исподволь начал отвоевывать пространство с места, куда меня зашвырнуло в очередной раз, и мало-помалу, цепляясь мертвой хваткой за сетку, шаг за шагом, взобрался наконец на короб!

Со временем люди научились противостоять и южаку. Самый длинный в городе многоэтажный дом, именуемый поэтому «Китайской стеной», построен как раз параллельно певекской сопке с тем расчетом, чтобы принимать на себя и отчасти гасить напор южака, не давать ему таранно сотрясать более мелкие здания. Так ли, нет ли — но какой-то смысл в этом есть.

Южак частенько сваливается на город. Испытав его силу, впрочем незначительную, в других местах района, с южаком в самом Певеке я так и не столкнулся. Не хочу дразнить судьбу, будучи отчасти суеверным, но я всегда к чему-нибудь не успеваю: к южаку, к землетрясению, извержению вулкана, полярному сиянию, хотя, если не иметь в виду столь глобальных природных явлений, кое-что не очень приятное, но достаточно феерическое, перепадало и на мою долю.

Словом, не позавидуешь в Певеке взрослым, а ведь тут и детей полно, школы, детсадики, ясли. Детям-то каково! Существует серия рассказов, быть может не таких уж оригинальных, рожденных образом жизни детей Заполярья, трансформацией их детских представлений. То в одном доме, то в другом я кое-что успел записать. Ну вот, к примеру, сценка в аэропорту. Самолет только что прилетел из страны круглосуточного дня. Мальчик кричит:

— Ой, темно, темно! Почему зима летом начинается?

Либо при виде деревьев:

— Гляньте, гляньте, столбы с веточками!

Но и в Певеке, как и повсюду у нас, дети затевают игры, есть у них и забавы, и увлечения: удят рыбу, собирают ягоды и грибы, ходят в кино и библиотеки... Кстати, о библиотеке. Она здесь весьма прилична и уютна. Расположена в том самом несокрушимом, грязно-зеленого цвета, доме, который именуется «Китайской стеной». Здесь добрая и, видимо, давняя традиция — по мере возможности не упускать ни одного писателя, который почему-либо оказался в Певеке, без выступления в так называемом литературном салоне. Я, правда, не спрашивал, кто из писателей здесь бывал прежде, выступал ли в 1975 году Константин Симонов, совершавший вояж на ледоколах по арктической трассе (вообще-то встреч и выступлений у него хватало «на разных уровнях»), но оказавшегося в Певеке в то же примерно время Виктора Конецкого библиотечная администрация все-таки «засекла». В своей книге он упоминает эрудированную, начитанную аудиторию, донимавшую его вопросами о положении дел в современной литературе.

Не удалось прожить в Певеке инкогнито и мне. Разыскали в гостинице, пригласили честь по чести... Как раз в эти дни ездил по Чукотке болгарский писатель Борис Крумов, о чем я уже говорил. Певек был конечным пунктом его поездки, здесь, в Чаунском районе, гостя напоследок основательно измотали показом местных достопримечательностей и горнообогатительных комбинатов, и он заметно подустал.

Крумову было уже где-то лет под шестьдесят, но выглядел он если и не совсем молодо, то подтянуто. Что-то было в нем выверенно-спортивное. Сухое смуглое лицо, короткая стрижка — седой ежик, чуть рассеянный взгляд... строгий костюм... Рассказ болгарина был рассказом «о времени и о себе». Крумов принадлежит к славной плеяде комсомольцев, которые начинали свою сознательную жизнь и борьбу еще в подполье при царе Борисе, пошедшем на постыдный сговор с Гитлером. Участвовал в движении Сопротивления, прошел через тюрьмы и пытки. Затем — комсомольская и партийная работа, журналистика. Словом, жизненный опыт, который не мог не привести Крумова к писательскому столу, тем более что журналистская практика его уже подготовила к этому.

Как принято говорить, встреча прошла оживленно. Если добавить к этому, что из «литературного салона» меня увел к себе радиожурналист Богдан Грунский, вечер оказался емким.

Грунский жил в Певеке уже десять лет. Он окончил Львовский университет, суждено ему было преподавать математику где-нибудь на Западной Украине, но, проявив всю настойчивость, на какую только был способен, дошел до министра просвещения СССР и добился назначения в Певек. Именно Чукотка нужна была Грун-

скому, и в своем выборе он не разочаровался. Правда, после нескольких лет работы в школе перевелся инженером на только что пущенную «Орбиту», а по совместительству с большим энтузиазмом и заинтересованностью взялся за радиожурналистику. Объяснил коротко: такие встречи, такие знакомства, такие интервью, такая возможность раздвинуть рамки привычного, примелькавшегося... Увы, молодая жена Люда, только что приехавшая к нему сюда со свеженьким дипломом терапевта, из-за этих интервью не видела его днями напролет (несмотря на медовый месяц).

Но сейчас, сегодня — все дома, все наконец за столом, за общим разговором. Не беда, что ночь — ведь ночи фактически здесь нет, светло. Из-за белых ночей режим сна у многих странно смещен. Можно в гостях просидеть «до рассвета» и не заметить этого. Если не идти на работу, можно встать и в 11—12 дня... Важно, чтобы успевать делать свое положенное.

Мне здесь живется просто здорово. Однако не ради певекского житья-бытья и приятных знакомств сижу я здесь. Возвратимся назад, ко времени моего первого появления в городе, когда мне, нуждавшемуся в помощи и совете, пришлось постучаться в дверь секретаря райкома по пропаганде Агафонова. Доброжелательный, энергичный, сразу поэтому вызывающий ответную симпатию, он просмотрел мои бумаги и отдернул занавеску на карте района. Времени тратить он, видимо, не любил и без обиняков, наизусть, прочитал мне маленькую лекцию о районе и его возможностях, подкрепляя свои выкладки небрежными движениями указки по карте.

Тезисы его были предельно лаконичны: насе-

ление в районе — небольшое, в основном пролетариат. Чукчей немного, всего 800 человек. А территория огромная, тянет на среднее европейское государство. В восемнадцати километрах от Певека — горняцкий поселок и рудник Валькумей (дает олово с 1940 года).

Три оленеводческих совхоза — в Усть-Чауне («Певек»), в тридцати шести километрах отсюда к востоку — «Большевик», ну и на острове Айон — «Энмитагино». Авиапорт практически открыт 360 дней в году. Принимает самолеты любых марок. Сейчас идет большая перестройка, старое здание вокзала не годится, мало́. Второй в области морпорт по мощности грузооборота (после Магадана).

В период навигации в Певеке базируется штаб морских арктических проводок. Бывает, что суда ходят и сами по себе, но в конце навигации всегда с помощью ледоколов. Районное геологоразведочное управление — размах поисковых и прочих работ огромный. Сеть школ... больниц... кинотеатров... клубов... детских учреждений... музей на общественных началах... ну и так далее, четко, лаконично, почти без эмоций, с какой-то подстрочной, почти не выходящей на поверхность, гордостью: вот такие мы, мол... такой у нас разворот.

На мое робкое замечание, что я более тяготею к природе, что у меня чуть ли не лирический уклон, ну и, конечно, интерес к вопросам охраны окружающей среды, поскольку это, так сказать, насущное, глобальное, Агафонов заметил чуть насмешливо:

— Это как вам угодно. Но быть на Чаун-Чукотке и обойти стороной, не заметить промышленность, когда вокруг нее вся жизнь здесь вертится, просто невозможно. Да и грех.

Есть некие веские внутренние причины того, почему я больше тяготею к природе. Но здесь, на Чаун-Чукотке, есть не менее веские причины толковать не только о рыбе, птицах и зверье. Агафонов безусловно прав.

ОЛОВО

Тогда, значит, потолкуем об олове. Кстати сказать, не отвлекись я на олово, я лишился бы ощущения не только внутреннего, но и внешнего неравновесия, что ли. Да, да, его, это неравновесие, можно было бы выразить даже графически. Задавшись целью написать о Чаун-Чукотке, я тем самым как бы поставил себе необходимым побывать в разных, иногда противолежащих ее уголках. Если уж на севере, то и на юге, а как же при этом оставить без внимания запад и восток? Побывав на северо-западном побережье Чаунской губы, как я мог не посетить северо-восточное, не завершив тем самым графический рисунок моего путешествия? Повидав жизнь на одной стороне Чаунской губы, я должен был узнать условия жизни и деятельности человека на другом ее берегу. Иначе что-то в моем восприятии края не замыкалось логически. Определенной симметрии маршрутов я придерживаюсь обычно и во всех моих путешествиях, и если это по каким-либо причинам не получается, считаю такое путешествие не совсем получившимся, а знание края — явно неполным.

Между тем олово один из краеугольных блоков экономической структуры района! Владимир Михайлович Етылен еще на Айоне настоятельно

советовал мне побывать в старательской артели «Гранит».

— Почему именно «Гранит»? Нет других артелей? — спросил я.

— Есть и другие. Но эта по всей Чукотке гремит, вот как Милинский в Магаданской области. У них знаете как строго. Если человек не подходит, артель проголосует, и неугодного прочь. Хотя и там, конечно, единоначалие и голос председателя многое значит. Да и можно пожаловаться, исполком разберется, почему уволили, законно или нет, — артель не бесконтрольна. И все же скажу: берут не всякого. Три-четыре горняцких специальности должен иметь. Такие зубры работают — иной, глядишь, кандидат наук.

Однако я опять застрял в Певеке. Рейсовые пассажирские автобусы в Гыргычан — тем более в артель «Гранит», расположенную у самой кромки Ледовитого океана, — не ходили: дорога эта не для такого деликатного транспорта. Бензовозы те ходят, «кальмары» (почему-то так именуют тракторы К-700), транспортные тягачи на резиновом ходу, у которых мощность двигателя несусветная, доставляют к промприборам разное громоздкое снаряжение, запчасти, строевой лес, в основном для монтажа промприборов. Добраться в Гыргычан можно только на таком транспорте. Что ж, я готов, но...

Да и погода... Мокрый снег, слякоть. Лето к концу, если считать, что оно все-таки здесь было. Все мысли — о колесах, на которых можно укатить в недосягаемый Гыргычан. Колеса снятся даже во сне. Странный вообще-то примерещился однажды сон. Вроде дали мне двуколку, где по всей внешней видимости колеса были именно колесами, лошадь как лошадь, но сама двуколка вовсе не двуколка, а каркас из алю-

миниевой проволоки. Вроде проволочной головоломки, где надо проволоку от проволоки отделить, вывести из хитроумного сцепления. Словом, взгромоздился я на ту двуколку, и хотя вес имею для мужчины мизерный, она тотчас подо мной прогнулась, осела, колеса почти сплющились, — но как-то все же поехал. Что ж, пусть даже и так: на полусплющенных...

В Певеке — вдруг печальное курлыканье растерянных, сбитых с толку журавлей... Видимо, отстали от своих, дали крен в другую сторону без опытного вожака и вот жалобно курлычут над домами города, над шумной бухтой. Сплошная к тому же серость, моросящая пыль, и в ней размытые контуры этого косяка вызывают в душе щемящий отзвук чего-то, чему нет слов. Как-то понемногу сорганизовавшись и сориентировавшись, косячок выровнялся и лег на нужный курс. Я прямо-таки физически соощутил тяжелые в волглости воздуха, словно бы даже скрипящие взмахи их крыл.

После пурги солнце, капель... Потом и подсыхать начало. И насчет машины кое-какая появилась определенность. Выручил местный фотограф Ярослав Сторожинский, старый мой знакомый по общему проживанию в айонской гостинице. За ним специально должна приехать из «Гранита» машина. Но уезжает и Сторожинский; для меня в кабине не оказалось свободного места. Однако велено ждать и надеяться: обо мне знают и помнят. Как просто здесь с иными поездками: купил билет на автобус, сел и поехал. Но это уж слишком благополучная Чукотка, слишком уж современная, а она ведь разная, во многом и необжитая, необузданная все-таки, сама по себе. И, может, это даже хорошо, что сама по себе.

Все же пришел день и час, когда у дома, в котором я томлюсь, остановился бензовоз-наливник, вижу из окна как будто нужный мне номер...

Да, действительно по мою душу...

Залезаю в кабину, наспех знакомлюсь с шофером — и в путь!

Имя и фамилия у шофера этакие увесисто-надежные: Иван Ермаков. Усы для солидности. Ставрополец, из Георгиевска. Жена отпустила сюда на два сезона, больше ни-ни!.. Сыну ведь уже пятнадцать лет, за ним теперь отцовский глаз нужен, она, мать, свое дело сделала. Ей дай бог с дочерью управиться, хотя та еще и поменьше годами.

Что ж, у жены есть резон. Да только и два сезона прошли, а куда тут! Север держит. Вообще, конечно, нужно возвращаться, пора. Не исключено, что эта осень — последняя...

Кивнул знакомому шоферу из Пыркакая — до какого-то поворота у нас общая дорога с машинами этого рудника. Ездил я туда и по делу в рейсовом автобусе, и так просто, для расширения кругозора. Запомнился романтический парень в автобусе: на коленях у него громоздилась коробка с мощным японским агрегатом — транзистором-магнитофоном — стоимостью в 2500 рублей (полмашины!). На автобусной станции он его извлек, опробовал — чистота и звучность тембра даже меня, человека в общем-то далекого от музыки и увлечения ею, приковала к месту, словно я попал в некое магнитное поле. И уж как тот парень лелеял и ограждал от толчков свое музыкальное чудо! Из самой Москвы вез, что подвигу подобно... Конечно, старатель на олове, кто же еще?.. Далеко не

каждый решится отвалить 2500 «рэ» всего-навсего за магнитофон!

А ухабы между тем бедняге докучали, тем более что в переполненном автобусе ему досталось место сзади. Да, ухабы: сколько машин здесь за день проходит! Все-таки рудники, добыча металла... Продукты, промтовары, запчасти, аппаратура, горючее — всё надо в срок отвезти, привезти, доставить в нужное место, на самую «передовую».

Какое-то расстояние от Певека дорога общая, повторяю я. Нелишне вспомнить, как она строилась. Здесь, на Чаун-Чукотке, это была первая автодорога. Шла война. Пыркакай уже начал давать позарез необходимое для нашей оборонной промышленности олово. Но ведь нужно было и вывезти его с прииска в срок, доставить к причалам Певека. Весной 1942 года на строительство дороги вышло 700 постоянных рабочих, но было мало. На помощь приезжали жители Певека. «Это был поистине героический труд, — вспоминает один из ветеранов чаун-чукотской администрации, — в Певеке закрывались все учреждения. Всё население с тачками и лопатами уходило на строительство дороги. Работники райкома партии, райисполкома, горного управления были раскреплены ответственными за участки дороги».

...А дорога меж тем взлетает на увал и падает в долину, затем опять подъем на сопку, иногда уже скрытую в тумане. Прободаешь туман — и поразишься могущественному, как бы враз омытому пейзажу Чукотского горного массива, чередованию хребтов, багряно-желтым, стыло пламенеющим краскам осени, заплеснувшим тундру и склоны горы.

— Как там у них с планом? — интересуется

Ермаков, чего я и не ожидал: все же другая организация.

— Когда я там был, они еще не вышли на плановые цифры, — отвечаю со знанием дела, как посвященный в общие сложности и тайны. — Только-только в суточный график втиснулись. Но зато подготовили площади, теперь только нажимай на педали...

Ермаков молчит. И еще не скоро заведет разговор — без вопросов, по своей охоте, быть может, по внутренней потребности — о карьере «Гыргычан»:

— На Гыргычане промприборы еще с осени начинают устанавливать, — усмехнулся Ермаков. — А мы — весной, за месяц-полтора, глядишь, и готово. Вхолостую прокрутили — и пошла-поехала...

— Так в чем же причина все-таки?

Ему трудно объяснить, в чем тут самая что ни на есть суть, причина эта самая...

— Поворачиваемся быстрее.

Но это лишь часть ответа, одно из слагаемых успеха, здесь такие условия, такие проблемы, из которых так просто не выкарабкаешься, на одних темпах не выгребешь... когда, в сущности, плывешь не по течению, а против него. Вопрос остался пока открытым. Хотя ясно, что на Гыргычане и планы другие. Да и рабочего народу поменьше — там большинство с семьями, чуть ли не оседло.

Ездят наливники обычно в паре, машина за машиной. Может понадобиться помощь, взаимовыручка... Вот и сел все-таки скат, придется менять камеру. Одному возни сколько. А вдвоем довольно скоро сняли огромное колесо, заменили пробитую камеру, поставили на место, закрутили гайки — и дальше.

В основном дорогу портит речка Апапельхино с обилием рукавов. В полую воду да после дождей это и вовсе грозная преграда, сейчас-то хоть мелко. Долина перед Апапельхино вся красная (карликовая березка), зеленая и желтая. Сверху, по ребрам сопок, пейзаж обрамлен снежной парчой, что придает своеобразную завершенность всей картине. Красиво, сурово...

— Красиво, — согласился и Ермаков, чуть ухмыльнувшись в усы. — По-своему...

Да уж конечно по-своему. Тем и любопытна она, эта красота. Не сочинские едкие прелести природы, вызывающие оскомину на зубах, режущие глаз. Красота какого-то иного порядка и воздействия на чувства. Вон два-три журавля степенно бродят среди мочажин, отсвечивающих каленостью металла. Молодые совята нехотя взлетают с обочин при нашем приближении. Птенцы поморников... опять же евражки...

Гыргычан позади, уже и перевал. Ермаков попросил «увековечить» его на фоне сопок и всей окрестной неповторимости, — пора отослать домой фотографию. А то ведь некому больше здесь сфотографировать, именно на перевале.

Вниз, к Ледовитому океану, к артели «Гранит», строения которой уже видны отсюда, спуск довольно крут и опасен. Напарник, например, горючее дальше не везет, а сливает его с помощью шланга в установленный с наклоном желоб, — там, внизу, есть специальные резервуары. Простая идея, которая, впрочем, и затрат потребовала, наверно... Как и всякая идея, претворенная в реальность. Цистерну он отцепил, она осталась на перевале, а сам поехал домой налегке. Так вернее.

— А то ведь было в прошлом году, — вспомнил Ермаков, проследив за ним взглядом, — было дело. Правда, в обратном порядке: чудак тут один полез оттуда, из артели, не по серпантину, а напрямик, без страхующих зигзагов. Круто ведь, если напрямик, оно и по серпантину круто. Ну, мотор подъема не осилил, и машина пошла полным ходом назад, не знаю, что у него там случилось с тормозами, отказали, что ли... Видите, во-он стекла битые лежат? Перевернулась, покатилась кувырком. Шофер погиб. — Не скажу, что Ермаков вздохнул, он только помолчал довольно-таки тягостно. — Хорошо, когда сухо, а когда грязь, оттепель, гололед?

(Никому не дано знать, что его ожидает, истина старая: через месяц-два попадет здесь в аварию и Иван Ермаков, шофер осторожный, рассудительный и опытный, — но стихия рельефа окажется сильней: достанется и машине, пострадает и шофер, получит травмы. А вдобавок законы артели жестки и подчас жестоки: по твоей вине авария, не углядел, не рассчитал — ремонт за твой счет! Вот оно, старательское счастье, не каждому и улыбнется, даже если ты и семижильный, и знающий!)

Спускаемся архитихо, на малых оборотах, тормоза надежны, а все же с непривычки немного не по себе!

Ермаков — уже внизу — за обязанность считает показать гостю артель с лучшей стороны:

— Вот новая дизельная... там котельная... новая...

Бродят лениво свиньи, поросята, планируют жиреющие на отходах кухни чайки, снуют ко всему привычные евражки...

Эстафету показа и рассказа принимает у Ермакова знакомый мне по Певеку Борис Су-

лейменович Асянов — заместитель председателя по общим вопросам. Кивнул на свиней:

— Пока тепло, на вольном выпасе.

Должен сказать, что стол у оловодобытчиков ничуть не хуже, чем в других артелях. То же решение продовольственной проблемы: в основном за счет подсобного хозяйства. Содержать его, конечно, стоит труда. Труда тех же старателей, да еще после продолжительного и весьма напряженного рабочего дня. Для себя же, не для дяди чужого!.. К зиме поголовье резко сокращают, мясо хорошо сохраняется в природных холодильниках-штольнях, вечная же мерзлота, мамонты десятки тысяч лет лежат в сохранности.

Так что свинина в столовой — на любой вкус и в любом ассортименте. Иногда, разнообразия ради, завозят из Певека оленину. Итак, хотите грудинки? Ветчины, нашпигованной чесноком? Колбасы, правда, нет, колбасу умяли — продукт такой, что не залежится.

Обедаем в старой столовой, на мой взгляд вполне приличной. И все же строится новая.

— Много народа, иногда не вмещает, — сказал Асянов. — Эту мы под общежитие потом... Теплицу вот тоже строим. Жаль только, в этом году огурцов еще не будет.

Строят не только котельные, дизельные, столовую, теплицу, выстроено общежитие с цветным телевизором в красном уголке (черно-белый остался в столовой). А кое-где в комнатах еще и телевизоры, так сказать, индивидуального пользования, на полупроводниках, — «Юность», например... Вообще, общежитие (есть и обставленные по типу номеров люкс гостиничные комнаты), имея в виду удаленность артели, незыблемые льды Ледовитого океана под боком, ра-

дует удобствами. Но иные из «старичков» не захотели переселяться: чересчур строгие порядки, даже курить в комнатах нельзя, лучше в прежних допотопных развалюхах. Разве только баней не пренебрегают, а уж как ее описать, не знаю... Слов в превосходной степени не найду... Общий зал, парилка, душ, отдельно стиральные машины. Рядом с баней так называемая копань с ледяной проточной водой, куда прыгают, выскочив из парилки, прямо с крыльца вниз головой. Все продумано до мелочей.

Артель богата, что и говорить. Но все же для строительства своих объектов, бытовых и производственных, пользуется ссудой. Государство охотно дает ее на пять лет — такой артели да не дать? А строят обычно тот или иной объект всего год. Некогда по пять лет возиться со строительством, да и не от субподрядчиков ведь зависят, строят сами!

Таким образом, информацией для начала я обеспечен с избытком. Больше житейской, бытовой. На следующий день познакомили с Анатолием Никитичем Прусовым, заместителем председателя по производству. Сказали, что земляк, из Краснодара... Тем лучше.

Прусову где-то уже под пятьдесят, он сухощав, подвижен, энергичен. Да, живет в Краснодаре, у него там домик, машина... То есть что значит — живет? Постоянно в отъезде, где только не побывал: работал в Якутии, под Верхоянском, и поблизости от Магадана, и на Камчатке. Образование? Да никакого. Практик. Пора ведь за столько лет чему-нибудь научиться, даже если и умных книжек с формулами не штудировать. У Абрамова, председателя артели, тоже никакого образования, тоже практик. В артели с 1969 года, с первых дней ее создания, а в пред-

седателях — с 1973-го, и, как видите, бессменно. Освоили нехитрый производственный процесс, отработали его, довели до совершенства, чуть ли не до автоматизма. Вот и весь секрет.

Секреты, полагаю, есть и некоторые другие, да словами, наверное, их не объяснишь, а и объяснишь — не избежать лобовых выводов, прямолинейности.

— Да у нас тут образованных тьма, — поспешил уточнить Прусов. — Есть и горные инженеры, рабочими поустраивались. Значит, это им выгодно. (Что выгодно — не спорю. Выгодно ли государству?) Некоторые, правда, и в бригадиры поставлены.

Разговор идет в кабине грузовика. Останавливаемся у самого ближнего к жилому поселку промприбора (здесь этот механизм тоже называется промприбором, хотя на взгляд и посложнее того, которыми пользуются старатели и присковики на золоте).

Бульдозер подгребает породу на питатель. Тот, ритмично дергаясь, сбрасывает ее на ленту транспортера. С транспортера порода попадает в скруббер — вместительный вращающийся барабан, который уже сортирует ее. Крупные камни опять же по транспортеру, установленному на верхнем выходе из скруббера, подаются на-гора, в галечный отвал, образующий мало-помалу огромный террикон. Поэтому и фермы транспортера, как и подающую ленту, приходится постоянно наращивать. Мелкая же, тяжелая, фракция просыпается на отсадочные машины типа грохотов, решет, откуда ей путь только вниз, на вибростол... Система сложная, но и потерь металла практически нет. Это металл еще не чистый, не однородный. В нем, по определению Прусова, «половина таблицы Мен-

делеева». Это концентрат, в мельчайшем порошке которого, глядишь, взблеснет и живая золотинка.

Поодаль стоят бочки, уже наполненные концентратом. Вот где железная бочка делает полный кругооборот, не в пример подавляющему большинству районов Севера. Здесь это надежная тара, которую и вывозить удобно, — концентрат не «расплескивается»...

Любопытства ради растер на ладони щепотку: при более внимательном рассмотрении концентрат запестрил настоящей мозаикой осколочков-песчинок.

— А почему на золоте нет таких приборов?

Алексей Никитич усмехнулся, руками развел:

— Сложно и дорого. На монтаж уходит немало лишнего времени. Золото же, особенно которое покрупнее, можно взять сразу, быстро — и тем оправдать затраты. Тут — иное дело, тут весь металл, в сущности, порох, а его потери недопустимы.

Он походя дал указание бульдозеристу, чтобы сделал аккуратней подчистку вокруг:

— Нет, нет, Ваня, этот бугор надо убрать, и не спорь!

— Да, Анатолий Никитич, это же эфеля![1]

— Это-то я вижу, что эфеля и что торфа там дальше, но вот же пески, их нужно подобрать, весь этот бугор. Камни — вон в низинку скати, а

[1] Эфели — эфеля в просторечии — песчано-илистые отходы промприбора.

все остальное — к питателю. А то ведь геологи не сактируют нам полигон, скажут, что же это вы, граждане, металлом разбрасываетесь, не используете полигон до конца!

Вот так мы с ним ездим, наверное, до самого обеда. А с председателем артели, Николаем Ивановичем Абрамовым, познакомился лишь через двое суток. Он и еще один товарищ, приехавший с ним, молча наблюдали, как вскрывает торфа, готовит задел уже на будущий сезон нарядный ярко-желтый бульдозер Т-330. Машина самой последней модели 1979 года, — сошла с конвейера Чебоксарского завода промышленных тракторов.

Оглянувшись и увидев меня, Абрамов сказал как давнему знакомому, которого его слова не могут не интересовать:

— Разрабатывают чуть ли не с тысяча девятьсот шестьдесят третьего года. Да сколько можно? К нынешнему времени конструкция заведомо устарела. Бульдозер малопроизводителен. Столько с ним возятся, подумать... так либо быстрее надо его до ума доводить, либо покупать «катерпиллеры», дешевле обойдется! А то что же такое, тысяча часов — и начинаются поломки, шатунно-поршневая группа барахлит, что-то там еще... — Помолчал, ответил на какой-то вопрос рядом стоящего товарища и опять ко мне: — Вот зачем эти фары вверху и по бокам нацеплены, — ведь их назначение — освещать объект работы, а не ночное небо! Да и отвальный нож надо позабористей...

Странное понятие старатель! Значит, старательный, старается... Но при чем же старание, если всегда у старателя на первом месте удача, поиск, «фарт». Конечно, без труда, без напряже-

ния и удача не подвалит, все-таки ее надо поискать. Но если принимать все же старателя как человека фартового и рискового, то как быть, опять-таки, с современным старательством? И насколько оно приложимо к добытчикам олова?

— Да условно все это, — отмахнулся Абрамов. — Особенно применительно к нам. До тысяча девятьсот шестьдесят девятого года старательской добычи олова здесь не было совсем. А в старатели нас «записали» из-за сходства организационно-хозрасчетной структуры с такой же структурой на старательской добыче золота. Больше труда вкладывают старатели, причем самого что ни на есть потогонного. Опять же, само по себе это условие тоже не обязательно ведет к успеху, к высоким заработкам. Только в артелях, где проверенный в общих трудовых баталиях состав, где ребята крепко знают, за чем приехали, и не обижаются, не капризничают, когда от них требуют иногда и перенапряжения. Ведь у нас как? Отработал бульдозерист свои часы, но у него поломка. Он обязан ее устранить, если это в его силах и возможностях, и он остается еще на час, два, три, и таких переработок у каждого достаточно. Но никто не считается: не принято.

Приблизительно так излагал свои соображения председатель артели. Мне он показался человеком хитроватым, себе на уме: говорит вроде охотно, хотя лишнего не скажет. Я так и не уразумел, например, почему артель «Гранит» по высоким трудовым показателям все-таки единственная в подобном роде на Чаун-Чукотке. Есть ведь и рядом старательская артель добытчиков олова — там ни новых общежитий, ни цветного телевизора...

Путешествуя в предыдущие годы по Северо-Востоку страны, случалось мне бывать и на золотых приисках. В частности, познакомился однажды с председателем старательской артели Леонтием Илларионовичем Милинским — артели тоже знаменитой по своим производственным показателям. Милинский заслуживает того, чтобы для аналогии рассказать о нем подробней. Он впечатляет с первого взгляда, этот человек. Крупное лицо с резкими морщинами у рта, которые почему-то его не старят, а словно бы придают облику избыточную мужественность. Пышная черная шевелюра чуть с проседью на висках. Быстрота взгляда, жеста, движения. И массивное золотое кольцо-печатка ручной работы, будто кастовый знак, в данном случае знак принадлежности к людям особого склада и образа деятельности, к старателям...

Вот он сидит за столом, с которого свисает развернутая схема. Вид у него как у полководца, прикидывающего ход предстоящего сражения и возможные при этом потери, отклонения из-за неблагоприятных обстоятельств, влияния неожиданностей... Да, это калька-схема предстоящих заделов и уже выработанных, пройденных участков, — она свисает, падает со стола как скатерть.

— Гм-м, полоса заманчивая, — говорит Милинский, попыхивая сигаретой. — Если разведчикам верить, тут кое-что должно быть. А почему не верить? Но двенадцать метров вскрыши! Узелок...

— Крепкий узелок, — поддакивает его коллега Павловский, судя по всему диспетчер, координатор всех работ артели.

— Может, мне в другой раз? — спрашиваю я, поскольку обо мне, кажется, забыли.

— Да сейчас, сейчас... решим, как быть...

И опять отгородился от меня своим, окутался дымом сигареты «Ту-134» — того и гляди, взлетит в этом облаке.

— Вскрыша! Двенадцать метров! Как говорится, не понос, так золотуха. Гм... Но точно Клондайк там у них, золотишко начинает повышаться. Ладно, — отмахнулся он от докучливых размышлений. — Поехали, значит, покажу вам, что и как. С ночевкой у старателей, говорите? Ну что ж, найдется место и переночевать.

И опять отвлекся на что-то свое, приумолк.

Я искоса к нему присматриваюсь. Супермен! Не то чтобы вполне классический, с четким квадратным подбородком, узкими бедрами и длинными руками. Меднолицый, тщательно выбритый, самоуверенный, деловой, быть может, нахрапистый. Мужественно красив, волнистая грива, должен иметь успех у женщин...

— А впрочем, зачем вам ночевать? Нет смысла. Объездим всю артель за два-три часа. Все увидите.

Смысл для меня есть. Но Милинский меня не понял — или не захотел понять. Возможно, прикинул, что оставлять меня наедине со старателями — значит работать против себя же. Мало ли что старатели могут наговорить, узнав, что у меня на вооружении перо. На всех ведь не угодишь.

Ну, нет — значит, нет. Я гость, и не в моих правилах настаивать в подобных ситуациях. Спасибо хоть на машине покатает, все покажет и каждую мелочь растолкует, если чего-то не пойму. Без лишних разговоров сажусь в новенький, шустрый с виду УАЗ-469.

Милинский ведет машину мастерски и не без

шика (да ведь и ГАИ ему здесь не указ). За приспущенными стеклами упруго высвистывает, гудит ветер — водитель, по всему, и скорость любит, необходимо везде поспеть, кому помочь, кого подхлестнуть, наметить перестановки.

В пути — беглый разговор с подсевшим механиком относительно полетевшего редуктора в бульдозере. Надо ремонтировать, терять сколько времени, — хотя, правда, есть запасной...

— Сейчас не время экономить, — распорядился председатель, — ставьте запасной... Раны будем зализывать потом.

Смутное ощущение, что машины, механизмы поглотили здесь людей. Пустынные полигоны с хаосом разрушения, урчащие бульдозеры, сметающие все на своем пути, одинокий человек, окутанный грохотом, шумом и брызгами от монитора, молчаливый, сосредоточенный, — где же люди — простые, суетливые, понятные?.. Крупно и отчетливо, во множестве ракурсов, вижу только Милинского. Он — в геологической куртке, под которой пуловер и яркая оранжевая рубашка с расстегнутым воротом. Джинсы в обтяжку. Начищенные штиблеты. Кроме перстня-печатки густо еще и золотые зубы — этакое сияние, когда говорит. На приисках, я заметил, золотые зубы у многих, даже когда, наверное, можно и без них... Нечто демонстративное. Даже не подозревал до той поездки, сколько у народа порченых зубов. Не хочу утверждать, что эти зубы имеют непосредственное отношение к государственному золоту, — нет, боже упаси, но они имеют прямое отношение к высоким заработкам старателей, образу жизни, а стало быть, и эталонам мышления.

С таким количеством золота во рту человеку должно быть неспокойно, с таким вот заревом, от которого блики по всему лицу. Я мог бы и далее худо-бедно иронизировать по этому поводу, если бы не одно бесспорное качество хотя бы и у Милинского: он давал, дает и будет давать стране золото — и все остальное уже не имеет первостепенного значения, оставаясь при всем том в рамках дозволенного законом. Так сказать, дело вкуса и доходов...

Подъехали еще к одному полигону. Это — огромный провал с холмами оттаивающей мерзлотной грязи. Борта выданного на-гора грунта, тех самых торфов. Вскрыша торфов — определение в чем-то условное, так как и самого торфа здесь может не быть или его немного, на бо́льшую глубину чаще всего прослеживаются всякие наносные породы. Три, четыре, шесть, десять, двенадцать метров торфов, скованных мерзлотой. И их нужно снять до слоя так называемых песков. Хотя пески тоже не совсем пески в обычном понимании. Это уже, собственно, речные (древней речки) отложения, в которых как раз и содержится золото. Слой песков незначителен, всего сорок — шестьдесят сантиметров, дальше идут коренные, преобразованные (метаморфизированные) и разрушенные породы типа сланцев.

Милинский безошибочно определяет, где надо углубить дно полигона, где остановиться — ибо достигли «песков».

«Вот песок, — говорит он. — И вот. А здесь речник, нужно бы еще немного снять. Стоп! Здесь брать нечего, здесь уже пошли коренные».

Еще и речник... А речник — это почти неотличимая от песков порода, но в песках камни,

кварц и прочие, необкатанные, остроугловатые, а в речнике видна работа древней речки, обкатка, сглаженность булыжников... Знаки золота встречаются и в речнике, но основной металл оседает ниже, в подстилающие древнее русло пески. А твердая коренная порода — как бы фундамент всего сверху напластованного. Так что все богатство, все вожделение мира — именно в этих вот песках!

В артели несколько «катерпиллеров». Их работа воспринимается со стороны как нечто фантастическое. Сметают все на своем пути, счищают под ноль — до скрежета по вечному льду. Сзади бульдозера крюк, разрыхляющий мерзлоту. А вообще при вскрыше торфов снимается горизонтальный слой, потом дают породе оттаять и снимают следующий и таким вот порядком до заданной глубины, до «песков». Но чтобы мерзлота оттаивала, нужно всю жидкую, уже готовую оттайку своевременно убирать. Вот это и есть забота бульдозеристов, главная нагрузка на «катерпиллеры». Когда два таких битюга сойдутся и как бы состыкуются своими размашистыми ковшевидными ножами, — перед ними бугрится, валом плывет целая река жидкой ленивой грязи. Какая-то ее часть, пусть значительная, растекается по сторонам, но изрядно докатывается и до места, откуда она уже идет под уклон, в присмотренную для нее низинку, сама. Затем бульдозеры отступают, причем чуть ли не синхронно, и процедура повторяется сначала. Грязь похожа на жидкую вулканическую лаву, растекающуюся от очага извержения плавно и неприхотливо. Разве что она не раскалена, а, наоборот, мертвяще холодна. Впрочем, и эта грязь, и лава одинаково безжизненны, — каждая по своей причине.

Воистину признáешь, что золото из грязи, что золото и грязь — в известном смысле синонимы. Да, сейчас эта грязь безжизненна, льдиста, вчерашний монолит мерзлоты, — но ведь была же и напряженная, пульсирующая, буйная жизнь здесь когда-то в незапамятные времена! Как меняется геологическая история, какие неожиданности сулит!

Не думаю, что именно об этом мысли Милинского, но когда, вдоволь напрыгавшись по дико взрыхленному, чавкающему полигону, мы подошли к сухой его закраине, к высокому, с поджатыми торфами, борту, он вдруг проговорил как бы не по теме:

— Что-то давненько костей мамонта не видел. Бивней этих самых...

Будто золота ему мало!

Все-таки странно, что бродили здесь когда-то и мамонты, и пещерный человек довольно высоко в эти широты проник, даже на остров Врангеля, — в те времена, видно, устраивали они его, едва прикрытого шкурами. А сейчас вот «катерпиллеры», «уазики», «газики» погрохатывают, скрежещут, одолевая крутизну, перепады, сатанинскую круговерть, густую кашу грязи...

— Нет, скажите — танк, а не машина? — на полном ходу «уазика» постучал кулаком по рулю Милинский. — Любые препятствия способна преодолеть. В наших условиях цены ей нет. Сам Ломако, наш министр, артели подарил. — Помолчав, уточнил с достоинством: — Заслужили, говорит, действительно стараетесь. А что? Даем-таки стране золотишко.

И, пока я переваривал названную им цифру, довольно значительную, как можно было дога-

даться и с моими слабыми познаниями золотодобывающей статистики, продолжал несколько снисходительно:

— Конечно, смотрят на нас косо. Но терпят.

О том, что смотрят косо, Милинский сказал не без некоторого самолюбования: организация труда и распределение средств у нас, мол, несколько отличны.

И потогонная система налицо, добавил бы я...

Понятно поэтому, что организационная структура, методика и технология производства, факторы стимулирования в такой вот артели, как у Абрамова, мне уже более-менее знакомы после давнего общения и разговоров с Милинским. Но почему все-таки именно они в ореоле удачливости и славы? Почему именно им идет в руки металл, ну, скажем, идет более густо?

Кстати, внешне они разительно несхожи — подчеркнуто показной и в одежде и в манере общения Милинский и неказистый, простенько одетый, невидный, я бы сказал, Абрамов. А сила ими движет одна: вкус к хозяйствованию, к четкой работе, талант незаурядных организаторов (уж у кого-кого, а у Милинского лидерство в натуре), умение считать копейку и видеть скрытый резерв, до поры держать его в уме, наконец, высокое чувство ответственности перед государством и перед людьми. Но и с людей они не стесняются требовать предельно жестко. И еще: у обоих чувствуются ухватистость, цепкость, в том числе и цепкость взгляда. Прошу прощения, но мимо того, что плохо лежит, ни тот, ни другой не проедет.

Ну, а внешняя их несхожесть даже отчасти

символична. Золото само блестит и требует нарядной оправы. Как раз тут и Милинский. Для олова хорош и Абрамов с его неказистостью и где-то скрыто внутри — собранностью и нацеленностью на конечную задачу. (Друг с другом они даже знакомы, встречались на совещаниях в Магадане.)

Так почему же?.. Да, да, я опять о производительности, отлично налаженном быте и пр. Нет, не сумел ответить на этот вопрос Иван Ермаков, не сумел (скорее, не захотел) ответить и Абрамов... А тот ответ, что сам собою подразумевался — напряженный труд и жесткая дисциплина, — не снимал всех «но». Можно бы говорить об увлеченности делом, о рабочей гордости, о духе соревнования, — обо всем этом я предпочел бы вести разговор, имея в виду как исходную точку восьмичасовой рабочий день. Здесь рабочий день двенадцать через двенадцать, после чего даже мне, человеку со стороны, не придет в голову толковать о подобных материях.

Я оставляю этот вопрос открытым, хотя мог бы ответить почти однозначно: все от руководителей с головой и хваткой. И стимул — действительно высокие заработки, выше, чем в других артелях. Стараешься — так уж знаешь, чего ради...

В общежитии, в гостиничных комнатах, нас всего двое; кроме меня — бульдозерист с Т-330 Миша, симпатичный парень из Сусумана, где работает на таком же бульдозере. Потому и послали сюда в командировку, чтобы местные товарищи присмотрелись к бульдозеру в деле: покупать потом или не покупать. Вот Миша и «вскрывает торфа», «делает вскрышу» с утра до вечера (условно понимая и то и другое). Узнав,

что я литератор, поведал мне на досуге кое-какие подробности своей жизни, довольно обычной, хотя и не лишенной житейских сложностей и неувязок. Ну, во-первых, там у него нет никакой родни, жил холостяком — «ни к бесу, ни к лесу»... Во-вторых, и девушек хороших — их ведь поискать еще надо. И женился он странно в конце концов: из жалости... Присмотрел одинокую юную мать, ребеночек у нее, что-то не разобрались толком в отношениях с отцом этого ребеночка, по всему судя... Вот и предложил ей Миша руку и сердце. Та, конечно, с радостью. Ребеночка чужого усыновил, все честь по чести. И считал, что она на него богу должна молиться. Она и молится, впрочем, только не так, как ему хотелось бы, не те молитвы... Решил пойти доучиться в вечернюю школу — не пустила. Натуральным образом! Будь, мол, дома, около меня. Сядет Миша, бывало, за книгу, — тоже нельзя: «Смотри на меня, а не в книгу!» — «Да не могу же я на тебя вечно смотреть, что ты за такая мадонна!» — «Ах, не можешь?! Значит, не любишь!» Ну, железная логика, что и говорить. Только ведь от такой любви и посинеть можно, тут уж и любовь не в любовь. В то же время деваться некуда — сам себе такую пытку устроил! И, если честно сказать, вовсе не пытку, жена Мише нравится. Такая-сякая, а нравится. Не сгоряча ведь он ее с ребеночком взял, о жалости это ведь только так говорится.

Вот и сейчас видно, что Миша переживает, письма каждый вечер пишет. А ведь устает, наскучается в своем бульдозере. Бульдозер, конечно, ничего — с его точки зрения, хотя есть и неудобства, в кабине в том числе. В ней двенадцать часов сидишь без передыху... Абрамов? Ну, Абрамов тоже кое в чем прав, хотя,

конечно, многого от такой машины требует.

Устают здесь все без исключения. Но, смотришь, вечерами у телевизора толкутся, и читают, и в шашки-шахматы готовы сыграть... Устает и Владимир Карпов, но выкроил время заглянуть на огонек показать свои первые литературные опыты, даже не опыты — опыт. Работает бурильщиком, бурит шпуры под врзывчатку....

— Да физически не тяжело, — сказал он, — кнопочки ведь, кнопочное управление. Но и без кнопочек достается: ящики с взрывчаткой погрузи, да разгрузи, да оттащи их к шпурам... Тоже само ничего по воздуху не летает.

Его литературная зарисовка порадовала меня тонким пониманием живого тока бытия, вроде бы такого неприметного у кромки Ледовитого океана, такого скудного... Это было описание чукотского лета, ничего такого броского, никаких особых откровений, — про грибы, про ягоды, о пуночке, устроившей гнездо вблизи от промприбора, художнически цепкое наблюдение над палевой облачностью, сползающей с сопок, — с благодарностью всему этому, на Чукотке радующему и трогающему, как, быть может, нигде более... Случилось бы мне написать про это, не знаю, нашел ли бы равноценные слова, но, пожалуй, добавил бы и свои наблюдения: над шустрым зайчишкой, которого неожиданно вспугнул на склоне сопки неподалеку от полигона, где так явственно рычало и лязгало всяческое железо. Над евражкой, перебегавшим дорогу с тем, чтобы спрятаться в ржавой сплющенной бочке. Думал, укрытие куда надежней норы. А я приподнял эту бочку, поставил ее на попа — и евражка свалился вниз, в такое место, где в разрыве металла был виден и где с ним можно

было потолковать с позиций силы, кстати, и на его просчет, на глупость евражечью намекнуть.

Однажды, прихватив фотоаппараты, направился я к океану, за зону кварцевых отвалов, чтобы насладиться последними погожими деньками. А полигоны стыкуются один с другим, кое-где карабкаешься по этим самым эфелям, чавкаешь по грязи, обходишь урчащие бульдозеры. Непривычно здесь видеть человека с рюкзаком, с фотоаппаратом в руках, вроде бы праздного... Остановили меня, полюбопытствовали, не чужак ли какой, — впрочем, не грубо. Остановил бригадир промприбора Анатолий Страшевский. Но вместо того чтобы дать ему отчет, по журналистскому навыку я сам повел на него наступление — отвечай, мол, кто таков и откуда... Гм, из Днепропетровска? А сюда как, каким ветром? Ну, теперь уже и не вспомнить, каким именно... Поначалу работал на комбинате, жил там с семьей, капитально. Но семья возвратилась на Украину, дети подросли, в школу нужно... Вот единственная забота: как теперь бы быть?

— А то ведь и жене здесь понравилось, могли бы жить, — обрадовавшись разговору со свежим человеком, неторопливо разъяснял семейную ситуацию Страшевский. — А что жена? Она понимает, в состоянии сравнить одно с другим. Вот, говорит, воздух чистый, такой теперь в других местах еще поискать. Что-то такое и для забавы в свободный час... грибы, ягоды... — Опять посмотрел на меня с некоторым недоверием: — А я думаю, куда это вы, на Северный полюс, что ли, с рюкзаком и в куртке на меху...

До полюса отсюда, пожалуй, еще далекова-

то. А сам батюшка Северный Ледовитый отсюда виден как на ладошке. Сплошь забитый льдами, торосящимися у самого берега. Был я уже там, Прусов на машине возил, словно собственными угодьями хвастал: вот, мол, еще и океан у нас, ко всему прочему. Не бог весть какой, Ледовитый, но все же отдыхать сюда ездим, там чуть дальше по берегу и домик на курьих ножках сооружен, с печкой, все условия...

Речушка, петляющая по разлогой долине,— изрядно мутна,— отходы от полигонов, всякий бытовой мусор — чище ей здесь и не быть. Прусову по должности положено предпринимать меры для очистки стоков производства,— ругают ведь, что речка загрязняется, оттого и океану, мол, беда...

— А какая беда от одной маленькой речушки, в сущности ручейка, такой громаде как океан? — недоуменно вопрошает он.

А такая и беда: речушек и ручейков много, тысячи в конечном счете, это лишь в хозяйстве Прусова одна... Север... равновесие в природе зыбкое, кинь небрежно лишнюю гирьку — последствий и правнукам не расхлебать. Ох, далеко не всем это ясно либо даже и не хотят понять. Взять то, что можно взять сегодня, а там пусть и реки не текут. Пусть потом у других о реках голова болит...

Тут, на Чаун-Чукотке, неожиданно ловлю себя на том, что тоже ищу земляков, причем земляков двоякого рода: по месту моего жительства, то есть краснодарцев, кубанцев, и по месту рождения, украинцев. И с теми и с другими легче завязать разговор, найти точки соприкосновения, вызвать общие воспоминания, интерес к собственной работе, к моему журналистскому поиску. Разговорился вот со Страшевским — а

он бывал на Украине в моих родных местах, служил там... У другого промприбора подошел механик Юрий Никольский, узнал, что я из Краснодара... А тут еще общее увлечение фотоохотой. Начали толковать о марках аппаратов, сортах пленки, о воспевающих Север кинооператорах и фотокорреспондентах. Никольского впоследствии я проведал и в Краснодаре. Смотрел его слайды, мыслями и чувствами возвратился на время в эти вот края, в долину, по которой сейчас иду, на сопки в округе... Их уже тронули жесткие краски осени, а где повыше — и серебро первого, уже настоящего, нетающего снега.

На склонах сплошные мелкобитые каменья — мелкобитые либо словно бы расщепленные на тонкие пластины. Так рядами они и лежат. Тут-то, в этих навалах-лабиринтах, я и заметил горностая — либо он заметил меня. Заметил и проявил поразительное любопытство. Этот маленький зверек словно живая ртуть. Рыженький, с белыми подбородком, шейкой и брюшком, он был среди этой ребристости, среди вкривь и вкось торчащего крошева полным хозяином положения. Стремительно носился, — скорее, не носился, а даже летал вокруг меня словно бы в танце. Это был бесшабашный танец жизни, танец отваги, полной от меня независимости и в чем-то превосходства. Вот я так могу, а ты — нет, словно бы выкрикивал он, то закладывая размашистые виражи, то сужая их, то вдруг рыжим огоньком выпархивая прямо из-под ног, глядя секунду-другую в упор: ну что, мол, взял? Накось, выкуси!

Надо ли говорить, что я то и дело норовил поймать его в фокус телеобъектива, — изображение смазывалось, смещалось. Раза два мне

все-таки удалось навести кадр на резкость, но и только. Хотел бы какой-никакой художественности в кадре, фона, сюжетной неожиданности, — но куда там, на размышления и поиски нужного решения горностайчик не давал ни секунды.

Легко дышалось в этот солнечный денек на исходе лета! Сопки строгой темной чеканки окружали тихую долину. По их склонам там и сям выпирали белые, в заплатках накипных лишайников, глыбы то ли кварца, то ли мрамора, толком не вник. Их крутолобая белизна как бы перекликалась со снежной пылью вершин. А вокруг еще буйствовала пестроцветьем, желтым и бордовым, мхами, лишайниками и карликовой березкой, скупая, твердая, переплетенная жилками разнообразных ягодных корешков тундра, по которой бегали вислоухие зайцы и горностаи, над которой летали полярные совы и поморники, — словом, которая еще жила и дышала, мертвяще не скованная стужей... Каменистая тундра, в которой покоится до поры до времени оловянная руда, золотой песок, полиметаллы, даже полудрагоценные камни... Среди невзрачности размолотой гусеничными траками и автомобильными протекторами дорожной щебенки я нашел и осколочек рубина и сохранил его как память об артели «Гранит», о ее непреходящей удачливости, прочном производственном успехе.

...И КАМНИ СЕРДОЛИКИ

Одна из характерных особенностей быта на Чаун-Чукотке — едва ли не повальное увлече-

ние коллекционированием камней. И не каких-нибудь, а имеющих «игру», неожиданный рисунок. Камней если не ювелирных, то хотя бы декоративных. Эти камни — в основном сердолики, агаты, халцедоны... Я как-то прикинул, что по разным поводам посетил в Певеке десять домов, десять семей. Обработанные, полированные, сверкающие камни на сервантах, стеллажах и тумбочках красовались в девяти домах из десяти.

Конечно, увлечение декоративными камнями, как-то все же украшающими и по-хорошему остраняющими наш быт, стало возможно лишь с завозом сюда специальных механизмов и инструментов для их обработки. Сами по себе камни зачастую невзрачны и лишь намекают на заключенную в них сложно организованную красоту, но когда такой булыжник развалишь отрезным алмазным кругом на две или три половинки и потом отполируешь, есть на что посмотреть! (Конечно, к отрезному кругу нужен и мотор с высокой частотой оборотов.)

Короче, о сердоликах Чаун-Чукотки я узнал довольно-таки давно, лет двадцать назад. Однажды на Дальнем Востоке мне попала в руки невзрачная брошюра — «Бюллетень Арктического института СССР» за 1936 год. Внимание привлекла небольшая статья С. В. Обручева «Халцедон и гранатовые пески в Чаунской губе». В ней, в частности, Обручев сообщал, что им обнаружены на берегах Чаунской губы месторождения халцедонов и гранатовых песков, представляющие, по его мнению, значительный практический интерес. «Оба эти месторождения, — писал он, — находятся в юго-западном углу Чаунской губы, где впадает небольшая речка Кремянка, получившая свое название от встречаю-

щихся в ней в значительном количестве крепких камней, которые местные чукчи и приезжие русские принимали за кремни».

Но оказалось, что это не кремни, а «гораздо более ценный материал» — желтоватые и серые халцедоны, красноватые сердолики и халцедоновые и сердоликовые агаты. Халцедоны эти в большинстве показались Обручеву хорошего качества, без трещин и включений. И далее он развивает мысль, что, поскольку по своим качествам они подходят не только как сырье для ювелирной промышленности, для треста «Русские самоцветы», но и для технических нужд, их следует разрабатывать. Тем более что это удобно, рядом море, открытый разнос, камни можно отбирать вручную и загружать суда, так как до Камчатки и Анадыря, где на них обычно грузят рыбу, рейсы предстоят порожние.

Мысль эта утопична, хотя и принадлежит человеку, который хорошо знает Север. Безусловно, сердолико-агатовое месторождение на реке Кремянке вряд ли стоит того, чтобы заниматься им всерьез. Камни все же изрядно трещиноваты, хотя и представляют (могут представить после обработки) интерес как декоративный материал, даже отчасти и ювелирный... Но их добыча явно не оправдает расходов, а найти халцедоны для технической промышленности можно и поближе к железной дороге. С Чаун-Чукотки ныне есть что вывозить и помимо камней — это прежде всего металлы.

Любопытно, что в своей книге «По горам и тундрам Чукотки» С. В. Обручев упомянул про халцедоны Кремянки лишь вскользь, уже не давая никаких рекомендаций относительно их разработки. Но и без его рекомендаций этой ме-

ленькой речушкой, которую летом свободно можно перейти в любом месте вброд, заинтересовалась огромная армия любителей поделочных камней. Армия, говорю я, но это вовсе не значит, что на ее берегах кишмя кишит народ. Нет, речка удручающе пустынна, хотя на протяжении многих лет, чуть только местами сойдет снег, ее посещают наездами и налетами (в прямом смысле — на вертолетах) группы камнелюбов и просто людей разворотливо-шустрых, знающих особо каменно-уловистые места. Они вывозят отсюда сердолики мешками. После Обручева река вскользь описана Олегом Куваевым, который тоже побывал на ее берегах, затем уже более подробно и со вкусом — Мифтахутдиновым, так что к пропаганде ее богатств, как водится, приложили руку (перо) и писатели, тоже к камням неравнодушные. Словом, побывать на Кремянке — мечта каждого приезжающего в Певек новичка.

Ясное дело, что, закоренелый и неисправимый камнелюб, я тоже мечтал об этом, еще будучи на биостационаре Айопечана. Однако оттуда мне обещали поездку лишь после того, как прибрежье губы освободится ото льда — иначе на лодке не доберешься и, само собою, не пройдешь напрямик по заболоченной тундре. И лишь В. М. Етылен наконец посочувствовал и помог делом, когда мы занимались рыбалкой на реке Теюкуль у Кашкарова. Он попросил охотника забросить меня в устье Кремянки и, поскольку моторка нужна на участке, возвратиться за мной через какое-то оговоренное время. Строго лишь на «знакомство» с Кремянкой мне дали час, но и этой возможности я откровенно обрадовался. Найду или не найду я хорошие сердолики, не так уж и беспокоило меня, важен был самый процесс

и сознание того, что я все же проник на эту знаменитую Кремянку. А найти что-либо путное я и не рассчитывал, поскольку еще Обручев указывал, что приличные камни попадаются не раньше чем километрах в трех от устья, а от знатоков я слышал, что сведения эти безнадежно устарели и для перспективного поиска нужно подняться против течения километров чуть ли не на двадцать — тридцать, если не выше.

Итак, Кашкаров высадил меня в устье пустыннейшей речушки и был таков. Эта гулкая пустынность ошеломила меня, тем более что в воздухе стоял нудный, душу мотающий комариный стон. Етылен предложил взять ружье, но я отказался. Между тем возможность встретить бурого медведя либо даже волка здесь была вполне ощутима, — им не закажешь, где гулять, их угодья, их земля... Нередко даже в поселки, к человеческому жилью наведываются. На Старом Шелагском медведь проломил крышу на чердак, где лежало нерпичье мясо, нажрался, а назад через стропила протиснуться не мог, так его, беднягу, разнесло. Жильцы дома, старик со старухой, били в тазы и ведра, чтобы медно-жестяной этой какофонией устрашить и согнать его, — стрелять в белых медведей закон запрещает. Не помню, чем кончилась эта история, но кончилась благополучно. В этом же охотничьем поселке не далее как полгода назад, зимой, безнаказанно гулял 21 медведь, — опять же, стрелять никто не посмел. И не за дохлым китом они сюда пожаловали, как писал о другом подобном случае в этих краях Василий Песков, — а, видимо, вышли по тонкому льду на берег, потом его отнесло, вот они и остались в ожидании, пока новый пригонит. Конечно, ничего хорошего

в этом для человека нет — носа на улицу не высунешь. Но ведь лезут медведи и в дома, как уже было сказано! Этой же зимой на одном из приисков медведь убил человека. Вдруг стал ломиться в дверь. В домике обитало двое рабочих. Один выпрыгнул в окно и убежал, другой тоже следом... Но тут уж медведь сообразил, метнулся к окну и сшиб заднего ударом лапы. Медведя все же пристрелили, да и что с ним с таким делать, какие меры принимать?

И хотя сейчас лето, медведи по логике вещей сыты, и белые, и бурые, повстречаться с каким-нибудь на пустынной речке, призрачно и таинственно освещаемой низким солнцем, все же не хотелось. Уж если суждено, то лучше с бурым, чем с белым — у бурого, кажется, характер мягче.

Однако я почти не думаю об этой нежелательной возможности, я уже увлекся и по сторонам не оглядываюсь, красотами не любуюсь. Хотя, как говорила мне когда-то еще Бируте Василите, здесь, на Кремянке, красиво. Ну, красиво, — это сильно сказано. Сурово-раздольно, гулко, я бы сказал. Приокеанская тундра чуть холмиста и, в общем, почти зелена, ее окаймляют сопки дальних хребтов, и в этой чаше плещется какая-то зыбкая истома, что-то опасно затягивающее, словно бы уже внеземное. Конечно, если смотреть поверх комариной кисеи, каким-то образом отрешившись от этого грубо земного, пронзительно кусучего... Смотрю больше вниз: здесь местами, на косах, почти сплошная вкрапленность в клейкий, тягучий ил желтых и медово-красных камней. Сардеров, как говорят знатоки... Камни ведут, увлекают меня все дальше в глубь тундры, вверх по Кремянке. Но сколько

можно пройти за полчаса с небольшим, ведь в оставшиеся полчаса отпущенного мне срока нужно возвратиться к устью? И если у устья лодки не будет, шагать еще километров шесть навстречу ей — до перевальной, на зимней автотрассе Певек — Баранних, гостиницы...

Нет сил оторваться от этой всуе разбросанной ценности, на которую, впрочем, истинные собиратели и не смотрят, — они собирают камни гораздо выше по среднему течению Кремянки. Да, мои камни невзрачны, трещиноваты, согласен, но есть и такие, которые после обработки, вероятно, будут прелестны в своей медовой прозрачности.

Не пора ли выяснить наконец однозначно, насколько объективно вредно это вот «единоличное» освоение любителями месторождений самоцветов, поделочных и прочих камней? Конечно, если оно не в ущерб природе и народному хозяйству, то и пожалуйста, я сам охотник галечки собирать на берегу моря. Никому от этого никакого убытка. А человеку только радость, тихое утешение. Мне известны и выдающиеся люди, увлекающиеся этим на досуге. Еще недавно собирала камешки на берегу близ Дома творчества «Коктебель» престарелая Мариэтта Шагинян... Но в том же Коктебеле местные дельцы не для услады души (хотя присутствует и этот слабоуловимый элемент), а уже и для корысти ходят в горы с долотом и кувалдой, а то и взрывчаткой. Это значит, что в заповедной зоне Карадага ее уникальным геологическим формациям наносится непоправимый урон. Это уже не галечки на берегу, которые, право, лучше смотрятся в кулонах и брошах на платьях у женщин, — нет, это не галечки, это уже грех разру-

шения красоты цельной и в условном смысле вечной.

Везде, где не орудуют ломом, долотом, взрывчаткой, где собирательство увлеченно-тихое, некорыстное, нет нужды толковать о каких-то запретах. И без того их достаточно в жизни человека, а искательство, возможность найти что-то забавное именно для себя, интимно, и найти самому, наполняет нашу жизнь особым звучанием, загадочностью, иногда и восторгом (смотря что найдешь либо откроешь!). Но лом, но долото, но кувалда, опять же, мода, порождающая массовость увлечения — это нечто иное в каждом отдельном случае. Мода тоже бывает тупа и неразборчива, как прущий напролом бульдозер... и так же мало бывает в ней чутья, такта и уважения к нетленному...

Не думаю, что собирательство в одиночку, притом с оглядкой на медведя, чем-то может повредить и Кремянке!

Нет, наивен был Обручев, ох как наивен — «Русские самоцветы» сюда не дотянутся. Да и на что способно такое предприятие, кроме как на дробление камня, интересного между тем в целом, в завершенном декоративном рисунке, а не в ювелирной крошке, в кабошонах и кулонах, где этот рисунок уже отсутствует, где камешек не несет в себе и следа былой оригинальности целого. Это как если бы для украшения вам подарили не розу целиком во всем великолепии ее естественной, вполне расцветшей и тем раскрывшей себя формы, а лишь лепесток от нее.

О камнях-самоцветах надо бы говорить с придыханием, расписывая и разукрашивая дивные их свойства и зизгаги происхождения, сложный и увлекательный процесс химических прев-

ращений, переходов из качества в качество, после чего в итоге и образуется то халцедон, то опал, то сердолик, а то, глядишь, и пестрое яшмовое вещество осадочного происхождения, из донных морских отложений, из иглокожих, из каких-то там алярий спрессуется. Рассказать, как все это получилось, по приблизительным нашим представлениям, ссылаясь на Ферсмана, еще на кого-либо, на собственные догадки тоже — какая заманчивая и неисчерпаемая тема!

Но мне придется ограничиться «под занавес» этой книги лишь рассуждением о том, как подчас неразумно мы распоряжаемся уже готовым продуктом природы, готовым и бесценным ее изделием — не вникая особенно в дебри генеалогии каждого камня. А она, повторяю, глубинно, маняще увлекательна. Как маняще прекрасно озеро Эльгытгын на юге Чаун-Чукотки, — озеро, у которого я так и не побывал, а следовало, раз уж была поставлена задача изучить по возможности все достопримечательности этого края, все его дива и даже те явления, которые, пожалуй, ничего особенно примечательного из себя не представляют. Кто говорит, что озеро вулканическое — и приводит свои доказательства, кто — что кратер сей не что иное, как воронка от огромного метеорита, — так ли, нет ли, все равно это достаточно заманчиво, чтобы посетить Чаун-Чукотку еще раз, побывать на Эльгытгыне хотя бы для пресловутой графической завершенности моих здешних маршрутов. Для того хотя бы, чтобы, встав на кромке этого кратера, воскликнуть вслед за Обручевым: «Вот оно лежит перед нами, цель мечтаний многих путешественников».

Да, теперь мечтаю о нем и я. Помимо того,

разумеется, что хотелось бы проследить и дальнейшие судьбы людей, с которыми посчастливилось здесь познакомиться то ли на биостационаре, то ли в чукотской яранге, то ли у приборов, промывающих дорогой для страны металл.

Чаун-Чукотка — Краснодар,
1979—1981 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ ПАСЕНЮК

ПО ЧАУН-ЧУКОТКЕ

Очерки

Редактор
Г. Коледенкова

Художник
В. Захарченко

Художественный редактор
Е. Андреева

Технический редактор
В. Флид

Корректоры
Г. Голубкова,
Г. Черепенникова

ИБ № 3122. Сдано в набор 24.01.84. Подписано к печати 21.06.84. А06846. Формат 70Х90/32. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бум. для мн. аппаратов. Усл. печ. л. 9,95. Усл. краск.-отт. 9,95. Уч.-изд. л. 10,77. Тираж 30 000 экз. Заказ 12. Цена 60 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР.
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Типография № 2 Росглавполиграфпрома, Андропов, Чкалова, 8

Пасенюк Л. М.

П19 По Чаун-Чукотке: Очерки. — М.: Современник, 1984. — 270 с. — «Наш день).

В пер.: 60 коп.

В книгу краснодарского писателя Леонида Пасенюка вошли художественно-публицистические очерки, рассказывающие об одном из районов Чукотки, труженики которого в трудных условиях сурового Севера осваивают богатства этого дальнего уголка нашей необъятной Родины.

П $\frac{4702010200—205}{М106(03)—84}$ 90—84 ББК84Р7

Р2